

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!

Что есть Россия? Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский

Предисловие.

Наш национальный пророк.

В.В. Розанов в статье «Возле “русской идеи”...» вспоминает замечательный разговор с коллегой по гимназии – армянином, учителем греческого языка. Как-то раз он спросил Василия Васильевича:

«– Знаете ли вы одно место из Достоевского, где он говорит о народах в истории?»

Я, конечно, знал. Но он раскрыл о «Народе-Богоносце» и прочел страстно, по-южному, декламируя. И заключил словами:

– Это – Евангелие истории... Евангелие и для всякого народа в унижении. Я не знаю еще таких слов на человеческом языке: это пророк говорил своему народу. Для русских это – Священное Писание».

Собеседник Розанова читал ему центральную часть диалога Шатова и Ставрогина из романа «Бесы», включенную и в настоящий сборник. Есть вещи, которые морально трудно сказать о себе или о своем народе и которые требуют санкции «со стороны». Русскому человеку стеснительно заявить то, что произнес армянский поклонник нашего классика, и Розанов неспроста прикрывается «инородцем», чью мысль он, конечно же, полностью разделяет (а может, и «досочиняет»). Так или иначе, но мысль эта прекрасно выражена, глубока и верна.

Действительно, такие тексты, как упомянутый фрагмент из «Бесов», слово князя Мышкина о «русском Христе», монолог Версилова о «русских европейцах» из «Подростка» или же, наконец, Пушкинская речь самого Федора Михайловича, принадлежат к числу священных текстов отечественной словесности, наряду, скажем, с гоголевской «птицей-тройкой», тютчевскими «бедными селеньями» и целым ворохом сцен и авторских отступлений в «Воине и мире».

Слово «священные» я употребляю, конечно же, метафорически, так же как и розановский армянин. В жизни любого народа есть события, лица, книги, которые с годами приобретают статус чего-то бесспорно авторитетного, не подлежащего сомнению. Ученые в таких случаях предпочитают говорить о «национальной мифологии», возможно, это более точно, но широкому читателю, не знакомому с трудами А.Ф. Лосева, К.Г. Юнга или К. Хюбнера, пришлось бы слишком долго объяснять, что современная гуманитарная наука не вкладывает в понятие «миф» негативного смысла, а, напротив, обозначает им особую форму знания, равноправную научной, но отличающуюся от последней выходом за пределы рационализма. Иными словами, в основе мифа – вера, а не рассудок, но ведь не одним рассудком жив человек! А там, где вера, там и святые, они существуют даже у нигилистов. Так что проще (и правильнее), по-моему, вести речь не о «мифологическом», а о священном в широком (нецерковном) смысле слова (покойный академик А.М. Панченко в этой связи интересно писал о феномене светской святости в отечественной культуре последних двух столетий). Впрочем, думаю, никакой служитель церкви не осудит строку из знаменитой песни: «Идет война народная, священная война».

Сделав эти оговорки, нужно согласиться с тем, что главные сочинения Федора Михайловича Достоевского – не просто великая литература и яркая публицистика, они – наше национальное священное писание, а их автор – наш национальный пророк. Не в том смысле, что он создатель какой-то новой религии (хотя так думали Рильке и Шпенглер), и не в том, что все его предсказания сбылись (сбылось только то, чего он больше всего боялся, а надежды и упования пошли прахом), а в том, что он с наибольшей полнотой и ясностью выразил в своих творениях сущность русского самосознания. В чем же эта сущность состоит?

Ответ прост и сложен одновременно: в христианстве. Опять-таки, дело не в том, какой процент русских людей в ту или иную эпоху ходил в храмы и держал посты, а в том, что психология подавляющего большинства из них была и остается новозаветной, а жизненным идеалом (сознательным или бессознательным, неважно) являлся и является Христос. Разве весь наш быт с его походной неустроенностью, почти ирреальной зыбкостью, фантастическим свойством «линять в два дня» не свидетельствует о том, что мы града земного не имеем, а зыскуем града нездешнего? Даже атеисты, «по определению» обязанные отрицать все

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r нематериальное, говорят «о душе» и «по душам» не меньше, чем «церковники», а презрения к стяжательству у них порой гораздо больше. Русская песня уносит в небо почти так же высоко, как и молитва. О «природном» христианстве России еще раньше Достоевского писал Тютчев, гениально схвативший образ русского Христа – страдающего, униженного, «голгофского» (Федор Михайлович, продолжая Федора Ивановича, напишет позднее, что одна из наиболее характерных черт русской «психеи» – неизбывная потребность в очистительном страдании, то есть, в сущности, желание сораспяться со Христом), и это никакая не метафизика, это факты. Достаточно вспомнить, кого наши предки канонизировали в первую очередь – кротких страстотерпцев, добровольно отдавших себя на заклятие, князей Бориса и Глеба, – чтобы сразу согласиться с поэтом. И не просто же так в христианском мире нашлась одна-единственная страна, где 9/10 ее жителей определяли свое социальное положение религиозно: «мы – кре(хри)стья(иа)не»...

Другая коренная особенность «русской идеи» (непосредственно вытекающая из предыдущей), по Достоевскому, – всечеловечность, всеотзывчивость, способность понимать чужое как свое, отсутствие национального эгоизма. Об этом многие писали гораздо раньше автора «Братьев Карамазовых», в частности здесь сходились вроде бы классические антиподы Чаадаев и Константин Аксаков, но именно он довел заветную интуицию нашей философии до последнего чекана, недаром его Пушкинская речь была воспринята современниками как откровение. И несмотря на сокрушительную, не оставляющую камня на камне от ее основных положений критику этой речи Константином Леонтьевым, она продолжает таковым откровением оставаться. Леонтьев обвинял Достоевского в утопизме, но на самом деле утопией оказалась его собственная мечта о России как об отдельном, замкнутом в себе «культурно-исторического типе», который якобы должен создать новую, ни на что не похожую, сверхоригинальную культуру. Само по себе, выдвинутое Н.Я. Данилевским и продолженное Леонтьевым (а затем и Шпенглером, Тойнби, Хантингтоном...) понимание мировой истории как истории ряда самобытных, независимых друг от друга цивилизаций бесспорно, но... к России оно неприменимо, ибо наша родина, явно не вписываясь ни в какой другой «культурно-исторический тип», своего собственного (с присущей только ей культурной формой) так и не создала. Зато всемирной отзывчивости за прошедшие с Пушкинских торжеств 1880 года сто двадцать с лишним лет она нисколько не растеряла, доказывая удивленному миру, что может существовать такая цивилизация, чье неповторимое своеобразие состоит в перманентном отречении от самой себя...

Нужно ли говорить, что указанные Достоевским основы русского самосознания не могут способствовать тихой, сытой и спокойной жизни? Народ с такой «идеей» обречен на вечное пребывание в стихии трагического. Да, это величественно, красиво, в конце концов интересно... но тем, кто мечтает об утверждении в России «европейских стандартов», лучше предаваться сему занятию, «глядя из Лондона». Может быть, когда-нибудь русский менталитет радикально изменится, появятся совсем другие пророки, которые научат нас жить «как люди», но на наш век, дорогие современники, Достоевского хватит с лихвой...

Сергей Сергеев

Разъединение оканчивается...

(Из «Объявления о подписке на журнал “Время” на 1861 год»)

...Прежде чем мы приступим к объяснению, почему именно мы считаем нужным основать новый публичный орган в нашей литературе, скажем несколько слов о том, как мы понимаем наше время и именно настоящий момент нашей общественной жизни. Это послужит и к уяснению духа и направления нашего журнала.

Мы живем в эпоху в высшей степени замечательную и критическую. Не станем исключительно указывать, для доказательства нашего мнения, на те новые идеи и потребности русского общества, так единодушно заявленные всею мыслящею его частью в последние годы. Не станем указывать и на великий крестьянский вопрос, начавшийся в наше время... Все это только явления и признаки того огромного переворота, которому предстоит совершиться мирно и согласно во всем нашем отечестве, хотя он и равносильен, по значению своему, всем важнейшим событиям нашей истории и даже самой реформе Петра. Этот переворот есть слитие образованности и ее представителей с началом народным и приобщением всего великого русского народа ко всем элементам нашей текущей жизни, – народа, отшатнувшегося от Петровской реформы еще 170 лет назад и с тех пор разъединенного с сословием образованным, жившего отдельно, своей собственной,

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
особенной и самостоятельной жизнью.

Мы упомянули о явлениях и признаках. Бесспорно, важнейший из них есть вопрос об улучшении крестьянского быта.

В.Г. Перов. Портрет Ф.М. Достоевского

Теперь уже не тысячи, а многие миллионы русских войдут в русскую жизнь, внесут в нее свои свежие непочатые силы и скажут свое новое слово. Не вражда сословий, победителей и побежденных, как везде в Европе, должна лечь в основание развития будущих начал нашей жизни. Мы не Европа, и у нас не будет и не должно быть победителей и побежденных.

Реформа Петра Великого и без того нам слишком дорого стоила: она разъединила нас с народом. С самого начала народ от нее отказался. Формы жизни, оставленные ему преобразованием, не согласовались ни с его духом, ни с его стремлениями, были ему не по мерке, не впору. Он называл их немецкими, последователей великого царя – иностранцами. Уже одно нравственное распадение народа с его высшим сословием, с его вожатаями и предводителями показывает, какую дороною ценою досталась нам тогдашняя новая жизнь. Но, разойдясь с реформой, народ не пал духом. Он неоднократно заявлял свою самостоятельность, заявлял ее с чрезвычайными, судорожными усилиями, потому что был один и ему было трудно. Он шел в темноте, но энергически держался своей особой дороги. Он вдумывался в себя и в свое положение, пробовал создать себе воззрение, свою философию, распадался на таинственные уродливые секты, искал для своей жизни новых исходов, новых форм. Невозможно было более отшатнуться от старого берега, невозможно было смелее жечь свои корабли, как это сделал наш народ при выходе на эти новые дороги, которые он сам себе с таким мучением отыскивал. А между тем его называли хранителем старых допетровских форм, тупого старообрядства.

Конечно, идеи народа, оставшегося без вожатаев на одни свои силы, были иногда чудовищны, попытки новых форм жизни безобразны. Но в них было общее начало, один дух, вера в себя незыблемая, сила непочатая. После реформы был между ним и нами, сословием образованным, один только случай соединения – двенадцатый год, и мы видели, как народ заявил себя. Мы поняли тогда, что он такое. Беда в том, что нас-то он не знает и не понимает.

Но теперь разъединение оканчивается. Петровская реформа, продолжавшаяся вплоть до нашего времени, дошла наконец до последних своих пределов. Дальше нельзя идти, да и некуда: нет дороги; она вся пройдена. Все последовавшие за Петром узнали Европу, примкнули к европейской жизни и не сделались европейцами. Когда-то мы сами укоряли себя за неспособность к европеизму. Теперь мы думаем иначе. Мы знаем теперь, что мы и не можем быть европейцами, что мы не в состоянии втиснуть себя в одну из западных форм жизни, выжитых и выработанных Европою из собственных своих национальных начал, нам чуждых и противоположных, – точно так, как мы не могли бы носить чужое платье, сшитое не по нашей мерке. Мы убедились наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и что наша задача – создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал. Но на родную почву мы возвратились непобежденными. Мы не отказываемся от нашего прошедшего: мы сознаем и разумность его. Мы сознаем, что реформа раздвинула наш кругозор, что через нее мы осмыслили будущее значение наше в великой семье всех народов.

Мы знаем, что не оградимся уже теперь китайскими стенами от человечества. Мы предугадываем, и предугадываем с благоговением, что характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях; что, может быть, все враждебное в этих идеях найдет свое примирение и дальнейшее развитие в русской народности. Недаром же мы говорили на всех языках, понимали все цивилизации, сочувствовали интересам каждого европейского народа, понимали смысл и разумность явлений, совершенно нам чуждых. Недаром заявили мы такую силу в самоосуждении, удивлявшем всех иностранцев. Они упрекали нас за это, называли нас безличными,

людьми без отечества, не замечая, что способность отрешиться на время от почвы, чтоб трезвее и беспристрастнее взглянуть на себя, есть уже сама по себе признак величайшей особенности; способность же примирительного взгляда на чужое есть высочайший и благороднейший дар природы, который дается очень немногим национальностям. Иностранцы еще и не починали наших бесконечных сил... Но теперь, кажется, и мы вступаем в новую жизнь.

И вот перед этим-то вступлением в новую жизнь примирение последователей реформы Петра с народным началом стало необходимостью. Мы говорим здесь не о славянофилах и не о западниках. К их домашним раздорам наше время совершенно равнодушно. Мы говорим о примирении цивилизации с народным началом. Мы чувствуем, что обе стороны должны наконец понять друг друга, должны разъяснить все недоумения, которых накопилось между ними такое невероятное множество, и потом согласно и стройно общими силами двинуться в новый широкий и славный путь. Соединение во что бы то ни стало, несмотря ни на какие пожертвования, и возможно скорейшее, – вот наша передовая мысль, вот девиз наш.

Но где же точка соприкосновения с народом? Как сделать первый шаг к сближению с ним, – вот вопрос, вот забота, которая должна быть разделяема всеми, кому дорого русское имя, всеми, кто любит народ и дорожит его счастьем. А счастье его – счастье наше. Разумеется, что первый шаг к достижению всякого согласия есть грамотность и образование. Народ никогда не поймет нас, если не будет к тому предварительно приготовлен. Другого нет пути, и мы знаем, что, высказывая это, мы не говорим ничего нового. Но пока за образованным сословием остается еще первый шаг, оно должно воспользоваться своим положением и воспользоваться усиленно. Распространение образования усиленное, скорейшее и во что бы то ни стало – вот главная задача нашего времени, первый шаг ко всякой деятельности.

Мы высказали только главную передовую мысль нашего журнала, намекнули на характер, на дух его будущей деятельности. Но мы имеем и другую причину, побудившую нас основать новый независимый литературный орган. Мы давно уже заметили, что в нашей журналистике в последние годы развилась какая-то особенная добровольная зависимость, подначальность литературным авторитетам. Разумеется, мы не обвиняем нашу журналистику в корысти, в продажности. У нас нет, как почти везде в европейских литературах, журналов и газет, торгующих за деньги своими убеждениями, меняющих свою подлую службу и своих господ на других единственно из-за того, что другие дают больше денег. Но заметим, однако же, что можно продавать свои убеждения и не за деньги. Можно продать себя, например, от излишнего врожденного подобострастия или из-за страха прослыть глупцом за несогласие с литературными авторитетами. Золотая посредственность иногда даже бескорыстно трепещет перед мнениями, установленными столпами литературы, особенно если эти мнения смело, дерзко, нахально высказаны. Иногда только эта нахальность и дерзость доставляет звание столпа и авторитета писателю неглупому, умеющему воспользоваться обстоятельствами, а вместе с тем доставляет столпу чрезвычайное, хотя и временное влияние на массу. Посредственность, с своей стороны, почти всегда бывает крайне пуглива, несмотря на видимую заносчивость, и охотно подчиняется. Пугливость же порождает литературное рабство, а в литературе не должно быть рабства. Из жажды литературной власти, литературного превосходства, литературного чина иной, даже старый и почтенный литератор, способен иногда решиться на такую неожиданную, на такую странную деятельность, что она поневоле составляет соблазн и изумление современников и непременно перейдет в потомство в числе скандальных анекдотов о русской литературе в половине девятнадцатого столетия. И такие происшествия случаются все чаще и чаще, и такие люди имеют влияние продолжительное, а журналистика молчит и не смеет до них дотрагиваться. Есть в литературе нашей до сих пор несколько установившихся идей и мнений, не имеющих ни малейшей самостоятельности, но существующих в виде несомненных истин, единственно потому, что когда-то так определили литературные предводители. Критика пошлеет и мельчает. В иных изданиях совершенно обходят иных писателей, боясь проговориться о них. Спорят для верха в споре, а не для истины. Грошовый скептицизм, вредный своим влиянием на большинство, с успехом прикрывает бездарность и употребляется в дело для привлечения подписчиков. Строгое слово искреннего глубокого убеждения слышится все реже и реже. Наконец, спекулятивный дух, распространяющийся в литературе, обращает иные периодические издания в дело преимущественно коммерческое, литература же и польза ее отодвигаются на задний план, а иногда о ней и не мыслится.

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r

Мы решились основать журнал, вполне независимый от литературных авторитетов, – несмотря на наше уважение к ним – с полным и самым смелым обличением всех литературных странностей нашего времени. Обличение это мы предпринимаем из глубочайшего уважения к русской литературе. Наш журнал не будет иметь никаких нелитературных антипатий и пристрастий. Мы даже готовы будем признаваться в собственных своих ошибках и промахах, и признаваться печатно, и не считаем себя смешными за то, что хвалимся этим (хотя бы и заранее). Мы не уклонимся и от полемики. Мы не побоимся иногда немного и «пораздразнить» литературных гусей; гусиный крик иногда полезен: он предвещает погоду, хотя и не всегда спасает Капитолий. Особенное внимание мы обратим на отдел критики. Не только всякая замечательная книга, но и всякая замечательная литературная статья, появившаяся в других журналах, будет непременно разобрана в нашем журнале. Критика не должна же уничтожиться из-за того только, что книги стали печататься не отдельно, как прежде, а в журналах. Оставляя в стороне всякие личности, обходя молчанием все посредственное, если оно не вредно, «Время» будет следить за всеми сколько-нибудь важными явлениями литературы, останавливать внимание на резко выдающихся фактах, как положительных, так и отрицательных, и без всякой уклончивости обличать бездарность, злонамеренность, ложные увлечения, неуместную гордость и литературный аристократизм – где бы они ни являлись. Явления жизни, ходячие мнения, установившиеся принципы, сделавшиеся от общего и слишком частого употребления кстати и некстати какими-то опошлывшимися, странными и досадными афоризмами, точно так же подлежат критике, как и вновь вышедшая книга или журнальная статья. Журнал наш поставляет себе неизменным правилом говорить прямо свое мнение о всяком литературном и честном труде. Громкое имя, подписанное под ним, обязывает суд быть только строже к нему, и журнал наш никогда не низойдет до общепринятой теперь уловки – наговорить известному писателю десять напыщенных комплиментов, чтобы иметь право сделать ему одно не совсем лестное для него замечание. Похвала всегда целомудренна; одна лесть пахнет лакейской.

Наша новая Русь
(Из статей о русской литературе)

1

Если есть на свете страна, которая была бы для других, отдаленных или сопредельных с нею стран более неизвестною, неисследованною, более всех других стран непонятою и непонятною, то эта страна есть, бесспорно, Россия для западных соседей своих. Никакой Китай, никакая Япония не могут быть покрыты такой тайной для европейской пытливости, как Россия, прежде, в настоящую минуту и даже, может быть, еще очень долго в будущем. Мы не преувеличиваем. Китай и Япония, во-первых, слишком далеки от Европы, а во-вторых, и доступ туда иногда очень труден.

Россия же вся открыта перед Европою, русские держат себя совершенно нараспашку перед европейцами, а между тем характер русского, может быть, даже еще слабее обрисован в сознании европейца, чем характер китайца или японца. Для Европы Россия – одна из загадок Сфинкса. Скорее изобретется *perpetuum mobile* или жизненный эликсир, чем постигнется Западом русская истина, русский дух, характер и его направление. В этом отношении даже Луна теперь исследована гораздо подробнее, чем Россия. По крайней мере, положительно известно, что там никто не живет; а про Россию знают, что в ней живут люди и даже русские люди, но какие люди? Это до сих пор загадка, хотя, впрочем, европейцы и уверены, что они нас давно постигли. В разное время употреблены были пытливыми соседями нашими довольно большие усилия для узнания нас и нашего быта; были собраны материалы, цифры, факты; производились исследования, за которые мы чрезвычайно благодарны исследователям, потому что эти исследования для нас самих были чрезвычайно полезны. Но всевозможные усилия вывести из всех этих материалов, цифр, фактов что-нибудь основательное, путное, дельное собственно о русском человеке, что-нибудь синтетически верное, – все эти усилия всегда разбивались о какую-то роковую, как будто кем-то и для чего-то предназначенную невозможность. Когда дело доходит до России, какое-то необыкновенное тупоумие нападает на тех самых людей, которые выдумали порох и сосчитали столько звезд на небе, что даже уверились наконец, что могут их и хватать с неба.

Все доказывает это, начиная с мелочей до самых глубокомысленных исследований о судьбе, значении и будущности нашего отечества. Кое-что, впрочем, о нас знают. Знают, например, что Россия лежит под такими-то градусами, изобилует тем-то и тем-то и что в ней есть такие места, где ездят на собаках. Знают, что кроме собак в России есть и люди, очень странные, на всех похожие и в то же время как будто ни на кого не похожие; как будто европейцы, а между тем как будто и

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
варвары. Знают, что народ наш довольно смысленный, но не имеет гения; очень красив, живет в деревянных избах, но неспособен к высшему развитию по причине морозов. Знают, что в России есть армия, и даже очень большая; но полагают, что русский солдат – совершенная механика, сделан из дерева, ходит на пружинах, не мыслит и не чувствует и потому довольно стоек в сражениях, но не имеет никакой самостоятельности и во всех отношениях уступает французу. Знают, что в России был император Петр, которого называют Великим, – монарх не без способностей, но полуобразованный и увлекавшийся своими страстями; что женевец Лефорт воспитал его, сделал его из варвара умным и внушил ему мысль завести флот и обрезать русским кафтаны и бороды; что Петр действительно обреза бороды, и потому русские тотчас же сделались европейцами. Но знают и то, что, не родись в Женеве Лефорт, русские до сих пор ходили бы с бородами, а следовательно, не было бы и преобразования России. Но, впрочем, довольно и этих примеров; все остальные познания то же или почти то же самое. Мы говорим совершенно серьезно. Сделайте одолжение, разверните все книги, об нас написанные разными заезжими виконтами, баронами и преимущественно маркизами, – книги, разошедшиеся по Европе в десятках тысяч экземпляров; прочтите их внимательно и увидите, правду ли мы говорим, шутим мы или нет? И что всего любопытнее – некоторые из этих книг написаны людьми, бесспорно, замечательно умными. То же самое бессилие, как и в этих попытках заезжих путешественников бросить высший взгляд на Россию и усвоить ее главную идею, видим мы и в полнейшей неспособности почти всякого иностранца, которого обстоятельства заставляют жить в России иногда даже пятнадцать и двадцать лет, хоть сколько-нибудь оглядеться, прижиться в России, понять хоть что-нибудь окончательно, выжить хоть какую-нибудь идею, подходящую к истине. Возьмем сначала ближайшего соседа нашего, немца. Приезжают к нам немцы всякие: и без царя в голове, и такие, у которых есть свой король в Швабии, и ученые, с серьезной целью узнать, описать и таким образом быть полезным науке России, и неученые простолюдины с более скромной, но добродетельной целью печь булки и коптить колбасы, – разные Веберы и Людекенсы. Иные даже принимают себе «раз навсегда за правило и даже за священную обязанность» знакомить русскую публику с разными европейскими редкостями и потому являются с великанами и великаншами, с ученым сурком или обезьяною, нарочно выдуманною немцами для русского удовольствия.

Но какая бы ни была разница между ученым немцем и простолюдином в понятиях, в общественном значении, в образовании и в цели посещения России, – в России все эти немцы немедленно сходятся в своих впечатлениях. Какое-то большое чувство недоверчивости, какая-то боязнь примириться с тем, что он видит резко на себя не похожего, совершенная неспособность догадаться, что русский не может обратиться совершенно в немца и что потому нельзя всего мерить на свой аршин, и, наконец, явное или тайное, но во всяком случае беспредельное высокомерие перед русскими, – вот характеристика почти всякого немецкого человека во взгляде на Россию. Иные приезжают служить у помещиков, управлять вотчинами; другие являются в виде естествоиспытателей, ловят русских жуков, приобретают этим бессмертную славу и обращаются в каких-нибудь заседателей. Другие, с успехом заседая лет пятнадцать, решаются наконец быть современными и полезными и для этого подробно опишут, из каких горных пород будет состоять цоколь будущего памятника тысячелетию России. Есть из них чрезвычайно добрые; такие почти всегда начинают специально учиться по-русски, очень полюбят русский язык и русскую литературу, получают наконец употребление русского языка, конечно не без тяжких усилий, и, в припадке восторга, желая принести себе, русским и человечеству несомненную пользу, решаются – «перевести “Россияду” Хераскова на санскритский язык». Впрочем, не все переводят «Россияду» Хераскова. Иные приезжают писать свою Россияду и издают ее уже в Германии. Есть знаменитые сочинения в этом роде. Читаешь эту «Россияду» – серьезно, дельно, умно, даже остроумно. Факты верны и новы; глубокий взгляд брошен на иные явления, взгляд оригинальный и меткий именно потому, что иные русские явления удобнее наблюдать не русскому, а со стороны, и вдруг на чем-нибудь самом важном, коренном, без чего никакие познания о России, никакие факты, приобретенные трудом самым добросовестным, не дадут никакого о ней понятия или дадут самое сбивчивое, чтоб не сказать bestолковое, – вдруг наш ученый становится в тупик, обрывается, теряет нитку и заключает такую нелепостью, что книга сама вырывается из рук ваших и падает, иногда даже под стол.

Приезжие французы совершенно не похожи на немцев; это что-то обратно противоположное. Француз ничего не станет переводить на санскритский язык, не потому чтоб он не знал санскритского языка – француз все знает, даже ничему не учившись, – но потому, во-первых, что он приезжает к нам окинуть нас взглядом

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r самой высшей прозорливости, просверлить орлиным взором всю нашу подноготную и изречь окончательное, безапелляционное мнение; а во-вторых, потому, что он еще в Париже знал, что напишет о России; даже, пожалуй, напишет свое путешествие в Париже, еще прежде поездки в Россию, продаст его книгопродавцу и уже потом приедет к нам – блеснуть, пленить и улететь. Француз всегда уверен, что ему благодарить некого и не за что, хотя бы для него действительно что-нибудь сделали; не потому что в нем дурное сердце, даже напротив; но потому что он совершенно уверен, что не ему принесли, например, хоть удовольствие, а что он сам одним появлением своим осчастливил, утешил, наградил и удовлетворил всех и каждого на пути его. Самый бестолковый и беспутный из них, поживя в России, уезжает от нас совершенно уверенный, что осчастливил русских и хоть отчасти преобразовал Россию. Иные из них приезжают с серьезными, важными целями, иногда даже на 28 дней, срок необъятный, цифра, доказывающая всю добросовестность исследователя, потому что в этот срок он может совершить и описать даже кругосветное путешествие. Схватив первые впечатления в Петербурге, которые выходят у него еще довольно удачно, и, кстати, рассмотрев при этом критически английские учреждения, выучив мимоходом русских бояр (les boyards) вертеть столы или пускать мыльные пузыри, что, впрочем, очень мило и гораздо лучше величавой и чванной скуки наших собраний, он решается наконец изучить Россию основательно, в подробностях, и едет в Москву. В Москве он взглянет на Кремль, задумается о Наполеоне, похвалит чай, похвалит красоту и здоровье народа, погрузится о преждевременном его разврате, о плодах неудачно привитой цивилизации, о том, что исчезают национальные обычаи, чему найдет немедленное доказательство в перемене дрожек-гитары на дрожки-линейку, подходящую к европейскому кабриолету; сильно нападет за все это на Петра Великого и тут же, совершенно кстати, расскажет своим читателям свою собственную биографию, полную удивительнейших приключений. С французом все может случиться, не причинив ему, впрочем, никакого вреда, до такой степени, что он после своей биографии тотчас же начинает рассказывать русскую повесть, конечно истинную, взятую из русских нравов, под названием «Petrooucha», имеющую два преимущества: во-первых, что она верно характеризует русский быт, а во-вторых, что она в то же время верно характеризует и быт Сандвичевых островов. Кстати уж обратит внимание и на русскую литературу; поговорит о Пушкине и снисходительно заметит, что это был поэт не без дарований, вполне национальный и с успехом подражавший Андрею Шенье и мадам Дезульер; похвалит Ломоносова, с некоторым уважением будет говорить о Державине, заметит, что он был баснописец не без дарованья, подражавший Лафонтену, и с особенным сочувствием скажет несколько слов о Крылове, молодом писателе, похищенном преждевременною смертью (следует биография) и с успехом подражавшем в своих романах Александру Дюма. Затем путешественник прощается с Москвой, едет далее, восхищается русскими тройками и появляется наконец где-нибудь на Кавказе, где вместе с русскими пластунами стреляет черкесов, сводит знакомство с Шамилем и читает с ним «Трех мушкетеров»...

Повторяем, говоря это, мы вовсе не шутим, вовсе не преувеличиваем. Между тем мы сами чувствуем, что слова наши как будто отзываются пародией, карикатурой. Правда ведь и то, что нет такого предмета на земле, на который бы нельзя было посмотреть с комической точки зрения. Все можно осмеять, скажут нам, сказать то, да не так, передать почти те же самые слова, да не так их выразить. Согласны. Но возьмите же сами самое серьезное мнение о нас иностранцев; и вы убедитесь, что все сказанное нами нисколько не преувеличено.

2

Но надо оговориться. Последние нелепые возгласы о нас иностранцев были большею частью произнесены в состоянии беспокойном, во время недавних раздоров, теперь уже, слава богу, поконченных надолго, если не навсегда, во время войны, среди яростных боевых криков. А впрочем, если взять эссенцию всех прежних мнений, до раздоров и войны, то вывод был бы почти тот же самый. Книги налицо; можно справиться.

Что ж? будем ли мы обвинять за такое мнение иностранцев? Обвинять их в ненависти к нам, в тупости; смеяться над их недалекостью, ограниченностью? Но их мнение было высказано не один раз и не кем-нибудь; оно выговаривалось всем Западом, во всех формах и видах, и хладнокровно и с ненавистью, и крикунами и людьми прозорливыми, и подлецами и людьми высоко честными, и в прозе и в стихах, и в романах и в истории, и с ораторских трибун. Следственно, это мнение чуть ли не всеобщее, а всех обвинять как-то трудно. Да и за что обвинять? За какую вину? Скажем прямо: не только тут нет никакой вины, но даже мы признаем это мнение за совершенно нормальное, то есть прямо выходящее из хода событий, несмотря на то,

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
что оно, разумеется, совершенно ложное. Дело в том, что иностранцы и не могут нас понять иначе, хотя бы мы их и разуверяли в противном.

Но неужели ж разуверять? Во-первых, по всем вероятностям, французы не подпишутся на «Время», хотя бы нашим сотрудником был сам Цицерон, которого, впрочем, мы бы, может быть, и не взяли в сотрудники. Следственно, не прочтут нашего ответа; остальные немцы и подавно. Во-вторых, надо признаться, в них действительно есть некоторая неспособность нас понять. Они и друг друга-то не совсем хорошо понимают.

Англичанин до сих пор еще не в состоянии допустить разумности существования француза; француз платит ему совершенно тою же монетою, даже с процентами, несмотря ни на какие союзы и проч., и проч. А между тем и тот и другой – европейцы, настоящие, главные европейцы, представители европейцев. Где ж было им разгадать нас, русских, когда мы и сами-то для себя загадка, по крайней мере, постоянно задавали друг другу о себе загадки. Разве славянофилы не задавали загадок западникам, а западники славянофилам? У нас до сих пор любят ребусы. Читайте объявления об издании журналов, и вы в этом совершенно убедитесь. И как же бы, наконец, они нас постигли, когда одна из главнейших наших особенностей именно та, что мы не европейцы, а они и не могут мерить иначе как на свой аршин. Да главное еще то, что мы сами почти вплоть до сих пор постоянно и упорно рекомендовали им себя за европейцев. Что ж могли они разобрать в такой путанице, особенно глядя на нас? Виноваты ли они, что до сих пор у них недостает даже фактов, чтоб составить о нас беспристрастное мнение? Чем заявили мы себя особенным, оригинальным? Мы, напротив, даже как-то боялись сознаться в наших оригинальностях, прятали их не только перед ними, но даже перед собою; стыдились, что мы еще носим на себе хоть какой-нибудь свой отпечаток и никак не можем стать вполне европейцами, укоряли себя за это, а следственно, им же поддакивали, торопливо соглашались с ними и даже не пробовали их переуверять. Да и кого из русских они видели? по ком судили? Правда, они встречались со многими из наших, целых полтора века сряду. Вместе с прочими ездил к ним и господин Греч и писал оттуда парижские письма. Вот про господина Греча мы знаем, что он пытался было переубедить французов, разговаривал с Сент-Бевом, с Виктором Гюго, что явствует из его собственных парижских писем. «Я напрямки сказал Сент-Беву», – выражается он. «Я напрямки объявил Виктору Гюго». Дело, видите ли, в том, что Сент-Беву или Виктору Гюго, не помним (надо бы справиться), г-н Греч сказал напрямки, что литература, проповедующая

безнравственность и проч., и проч., ошибается и недостойна называться литературой. (Может быть, слова не совсем те, но смысл тот же самый. За это ручаемся.) Вероятно, Сент-Беву надо было дожидаться лет пятьдесят г-на Греча, чтоб услышать от него подобную истину из прописей. То-то, должно быть, Сент-Бев выпучил глаза! Впрочем, успокоимся: французы народ чрезвычайно вежливый, и мы знаем, что г-н Греч воротился из Парижа благополучно и невредимо. Притом же мы, может быть, и не ошибемся, если скажем, что по г-ну Гречу нельзя же было судить о всех русских. Но довольно о г-не Грече. Мы упомянули о нем только так. К делу! Ездили в Париж и другие, кроме г-на Греча.

Являлись туда с незапамятных времен и отставные наши кавалеристы, народ веселый и добродушный, изумлявший на наших парадах публику красотой своих форм, обтянутых лосиною, и проводивший потом остаток дней своих уже не в тягостях службы, а в свое удовольствие. Толпами валили за границу и молодые вертопрахи, нигде не служившие, но сильно заботившиеся о своих поместьях. Ездили туда и коренные наши помещики со всеми семействами и картонками; добродушно и серьезно взбирались на башни Нотр-Дам, осматривали оттуда Париж и, втихомолку от своих жен, гонялись за гризетками. Доживали там свой век оглохшие и беззубые старухи барыни и уже окончательно лишались употребления русского языка, которого, впрочем, не знали и прежде. Возвращались оттуда к нам и наши матушкины сынки, знавшие всю подноготную о Пальмерстоне и о всех мелких дрязгах во Франции, до последней бабьей сплетни, и которые за обедом просили своих соседей приказать лакею налить им стакан воды единственно для того, чтоб не проговорить и двух слов по-русски, хотя бы и с лакеем. Об одном из таких фактов лично свидетельствует г-н Григорович, написавший недавно «Пахатника и бархатника». Но бывали и такие из них, которые знали по-русски, даже занимались зачем-то русской литературой и ставили на русских сценах комедии, вроде пословиц Альфреда Мюссе, под названием ну хоть, например, «Раканы» (название, конечно, выдуманное). Так как сюжет «Раканов» характеризует целый слой общества, занимающегося такими комедиями, а вместе с тем изображает тип и других произведений в таком же роде,

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский `dostoevskiyfyodor.r`.
то позвольте вам в двух словах рассказать его. Когда-то в Париже, в прошлом столетии, процветал один пошлейший рифмоплет, под названием Ракан, не годившийся даже чистить сапоги г-ну Случевскому. Одна идиотка, маркиза, прельщается его стихами и желает с ним познакомиться. Три шалуна сговариваются между собою явиться к ней, один за другим, под названием Ракана. Не успевает она проводить одного Ракана, как тотчас же перед ней является и другой. Все остроумие, вся соль комедии, весь пафос ее заключается в остолбенении маркизы при виде Ракана в трех лицах. Господа, разрешавшиеся (иногда в сорок лет от роду) такими комедиями после «Ревизора», совершенно бывали уверены, что дарят русской литературе драгоценнейшие перлы. И таких господ не один, не два; имя им легион. Разумеется, никто из них ничего не пишет. Автор «Раканов» почти исключение; но зато каждый из них так уж с виду смотрит, что как будто сейчас сочинит «Раканов». Кстати (простите за отступление), премиленькая вышла бы статейка, если б кто-нибудь из наших фельетонистов взял на себя труд рассказать все сюжеты таких комедий, повестей, пословиц и проч., и проч., мелькающих даже до сих пор в русской литературе. Становые, отказывающиеся, по принципу, жениться на генеральских дочерях, – разве это не те же Раканы, разумеется, в своем роде и немного только позлокачественнее? Я знаю, например, сюжет одной повести о проглоченных кем-то маленьких часах, продолжавших тикать в желудке, – это верх совершенства! Разумеется, она написана или будет написана тоже по принципу, именно: что искусство должно служить само себе целью. Уж наше время такое: даже сочинители «Раканов» не могут теперь обходиться без «принципов» и «современных вопросов». Но к делу.

Спрашиваем: что могли до сих пор заключить о нас иностранцы по таким господам? Но, скажут нам, разве только одни такие господа ездили к иностранцам? Разве не видали, хоть бы, например, французы, таких-то или вот, пожалуй, таких-то? То-то и есть, что они их до сих пор не заметили. А если б и заметили, то опять стали бы в тупик. Ну что бы, например, могли сказать они человеку, приехавшему бог знает откуда и который бы им вдруг объявил, что они отстали, что свет уже теперь на востоке, что спасение не в Почетном легионе, и так далее, и так далее в этом роде. Они просто бы не стали его слушать.

– Да, вы многое в нас проглядели, – сказали бы мы им, если б только они могли не проглядеть, ну, и... и если б они нас стали слушать. – Вы совершенно ничего в нас не знаете, – повторили бы мы им, – несмотря на то, что ваш Мериме знает даже древнюю нашу историю и написал что-то вроде начала драмы «Le Faux Demetrius» («Лжедмитрий»), из которой, впрочем, столько же можно узнать о русской истории, как и из «Марфы Посадницы» Карамзина. Замечательно, что сам Le Faux Demetrius вышел у него ужасно похож на Александра Дюма, не на героя романа Александра Дюма, но на самого Дюма, настоящего, маркиза Davis de la Pailletterie. Ничего-то вы не знаете ни в нас, ни в нашей истории, – повторили бы мы им в третий раз, – и до сих пор знаете только одно: что женевец Лефорт, и т. д., и т. д. – Этот женевец Лефорт до того необходим в ваших познаниях о русской истории, что, я думаю, каждая дворничиха в Париже уже знает его и, вероятно, при взгляде на русского, требующего у ней в поздний час «отворите, пожалуйста», бормочет про себя: «Вот не родись в Женеве женевец Лефорт, то был бы ты до сих пор варваром, не приезжал бы в Париж, не будил бы ты теперь меня ночью». Но несмотря на троекратное повторение, что вы вовсе ничего о нас не знаете, мы вовсе не ставим вам в вину, что вы знаете только одного Лефорта. Ну, Лефорт вам даже простителен, потому что многих из вас он спас от голодной смерти.

Сколько гувернеров, учителей – всяких Сен-Жеромов и Мон-Реве-шей – приезжало к нам в старину из-за Рейна для образования России, ровно ничего не зная ни из какой науки, кроме того, что женевец Лефорт и т. д., и за это единственное познание, которое они передавали детям русских (boyards), они получали от нас и деньги, и социальное положение. Ну к чему, в самом деле, стали бы вы изучать нас? Где разумное к тому основание? Так разве, для искусства? Но вы народ деловой, практичный и, вероятно, не станете тратить времени на такие пустяки, как искусство для искусства, хотя и посадили Понсара в Академию (впрочем, может быть, по тому соображению, что туда ему и дорога). Ну так для науки? Да ведь в том-то и дело, что мы такой народ, что до сих пор ни под какую науку не подходим. Вот почему, господа, вы до сих пор не знаете, что если б у нас только и было, что одна ваша цивилизация, так для нас это было бы уж слишком жидко и даже обидно. Мы уж это испробовали и теперь знаем все это на опыте.

Вот почему мы знаем, а вы не знаете, что ваша цивилизация явилась у нас как плод натуральный, потребованный нашей почвой, а не потому только, что был на свете

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский *dostoevskiyfyodor.r*.
женевец Лефорт и т. д. Мало того: что цивилизация уже совершила у нас весь свой круг; что мы уже ее выжили всю; приняли от нее все то, что следовало, и свободно обращаемся к родной почве. Нужды нет, что не велика еще у нас масса людей цивилизованных. Не в величине дело, а в том, что уже исторически закончен у нас переворот европейской цивилизации, что наступает другой, и важнее всего то, что это уже сознали у нас. В сознании-то и все дело. У нас сознали, что цивилизация только привносит новый элемент в народную нашу жизнь, нисколько не повредив ей, нисколько не уклонив ее с ее нормальной дороги, а, напротив, расширив наш кругозор, уяснив нам же самим наши цели и давая нам новое оружие для будущих подвигов. Пусть, пусть сознающая наша масса невелика; но дело в том, что это уже не Раканы. Повторяем, не в величине дело, а в том, что уже совершился процесс сознания; об массе этой вы не имеете еще никакого понятия. Вы до сих пор (по крайней мере, все ваши виконты) убеждены, что Россия состоит только из двух сословий: бояр и крепостных. Но вы долго еще не будете убеждены, что у нас давно уже есть нейтральная почва, на которой все сливается в одно цельное, стройное, единоедушное, сливаются все сословия, мирно, согласно, братски – и *les boyards*, которых, впрочем, у нас никогда не было в том смысле, как у вас на западе, т. е. в смысле победителей и побежденных, и *les serfs*, которых опять тоже не было, в смысле настоящих *serf*'ов, так, как вы понимаете это словечко. И все это сливается так легко, так натурально, мирно – главное: мирно, и этим именно мы от вас и отличаемся, потому что вы каждый шаг свой добывали с бою, каждое свое право, каждую свою привилегию. Если и есть несогласия, то они только внешние, временные, случайные, легко устранимые и не имеющие корней в почве нашей, и мы очень хорошо это понимаем. И начало этому порядку положено еще давно, с незапамятных времен; оно заложено самой природой в духе русском, в идеале народном, и последнее внешнее к тому препятствие уже уничтожается в наше время премудрым и благословенным царем, благословенным из благословенных навеки за то, что он для нас делает. Нет у нас сословных интересов, потому что и сословий-то в строгом смысле не было. Нет у нас галлов и франков, нет ценсов, определяющих внешним образом, чего стоит человек; потому что у нас только одно образование и одни нравственные качества человека должны определять, чего стоит человек; это сознают, и это в убеждениях, потому что русский дух пошире сословной вражды, сословных интересов и ценсов. Новая Русь уже помаленьку ощупывается, уже помаленьку сознает себя, и опять-таки нужды нет, что она невелика. Зато она, хоть и бессознательно, живет во всех сердцах русских, во всех стремлениях и позовах всех людей русских. Наша новая Русь поняла, что один только есть цемент, одна связь, одна почва, на которой все сойдется и примирится, – это всеобщее духовное примирение, начало которому лежит в образовании. Эта новая Русь уже засвидетельствовала себя явлениями органическими и цельными, а не неудавшимися копиями и пересадками, как вы думаете. Она засвидетельствовала себя начинающею в молодом поколении новою нравственностью, ревниво и строго следящею за собою; она засвидетельствовала себя благородным самоосуждением, строгою совестливостью – что есть признак величайшей силы и неуклонного стремления к своему идеалу. Каждый день она разъясняет себе все более и более свой идеал. Она знает, что она еще только что начинается, но ведь начало-то и главное: всякое дело зависит от первого шага, от начала; она знает, что она уже кончила с вашей европейской цивилизацией и теперь начинает новую, неизмеримо широкую жизнь. И теперь, когда она обращается к народному началу и хочет слиться с ним, она несет ему в подарок науку – то, что от вас с благоговением получила и за что вечно будет помнить вас добром, – не цивилизацию вашу несет она всем русским, а науку, добытую из вашей цивилизации, представляет ее народу как результат своего длинного и долгого путешествия от родной почвы в немецкие земли, как оправдание свое перед ним, и, передавая ее ему, будет ждать, что сделает он сам из этой науки. Наука, конечно, вечна и незыблема для всех и каждого в основных законах своих, но прививка ее, плоды ее именно зависят от национальных особенностей, то есть от почвы и народного характера.

– Но позвольте, – скажут нам, – что же такое ваша-то национальность? Что же такое вы сами, русские? Вот вы хвалитесь, что мы вас не знаем; но знаете ли вы-то себя? Вы собираетесь перейти к народному началу и объявляете об этом в газетах, рассылаете при афишах? Стало быть, признаетесь, что до сих пор не имели никакого понятия о вашем «народном начале», а если и имели, то имели ложное и отвергали его именно потому, что до сих пор не переходили к нему. Теперь же вздумали и кричите об этом на всю Европу. Позвольте вас спросить, что делает курица, когда снесет яйцо?

Повторяем читателю, что все это говорит иностранец (ну, хоть бы, например, француз), не настоящий, но воображаемый, бесплотный, фантастический. Никакого

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
француза мы и в глаза не видали, когда писали нашу статью.

– Вот еще, – продолжает он, – в вашем объявлении вы изволили поместить следующее: вы надеетесь, что русская идея станет со временем синтезом всех тех идей, которые Европа так долго и с таким упорством вырабатывала в отдельных своих национальностях. Это что за новость? что вы под этим подразумеваете?

– То есть, – отвечаем мы, – вы хотите, милостивый государь, чтоб вам объявили прямо и без околичностей, во что мы веруем?

– Нет, я вовсе этого не хочу, – восклицает наш француз с некоторым испугом, предчувствуя, что ему опять придется выслушать несколько страниц, – я вовсе этого не хочу. Я только хотел...

– Нет, милостивый государь, – прерываем мы, – вы хотели ответа и вы выслушаете наш ответ.

– Он заслужил розга и получит розга! – подхватывает Иван Карлыч, вероятно вспомнив то время, когда он управлял вотчинами господина Буеракина. Теперь же Иван Карлыч, предчувствуя скорую перемену в быте крестьян, вышел в отставку и без места; он, впрочем, надеется, что его опять позовут! В настоящую минуту он стоит подле нас (тоже в качестве иностранца), курит свою трубочку, с которой, бывало, расхаживал по крестьянским работам, и молча, но очень серьезно прислушивается к нашему разговору, в полном убеждении, что выражает в своей физиономии чрезвычайно много самой тонкой иронии.

– Мы веруем, – повторяем мы... Но позвольте, читатель, позвольте нам еще раз одно отступление; позвольте сказать только несколько посторонних слов, не потому, чтоб они были здесь очень необходимы, а так... потому что сами просят на бумагу. Простите за искренность.

Всегда есть в ходу несколько таких мнений и убеждений, в которых современники как будто боятся признаться и отрекаются от них перед светом, несмотря на то что потихоньку их разделяют. Особенно это бывает в иные эпохи, так что становится заметно снаружи даже совершенно постороннему наблюдателю. Мы понимаем, что может быть много и хороших к тому побуждений: можно, например, слишком бояться за истину, за ее успех; бояться ее компрометировать, высказав ее невпопад. Можно быть благородно-мнительным, недоверчивым. Все это бывает. Но часто и даже большею частью мы любим умалчивать из какого-то внутреннего, затаившегося в нас иезуитизма, главный рычаг которого – наше самолюбие, раздраженное до тщеславия. Один скептик сказал, что наш век есть век раздраженных самолюбий. Обвинять целый свет – это слишком; но нельзя не согласиться, что все на свете снесет иной современный человек, какое хотите бесчестие – даже названия подлеца, мошенника, вора, если только эти названия не совсем ясно, не совсем осязательно высказаны, облечены, так сказать, в мягкие светские формы... Одной только насмешки над умом своим он не снесет, не простит, никогда не забудет и с наслаждением отмстит за нее при случае. Спешим оговориться. Я говорю про иного современного человека, а не про всех современников.

Может быть, это именно оттого происходит, что в наше время все начинают все сильнее и больше чувствовать и даже понемногу сознавать, что всякий человек, во-первых, самого себя стоит, а во-вторых, как человек стоит и всякого другого именно потому, что он тоже человек, во имя своего человеческого достоинства. А потому и начинает требовать от профессоров гуманности и от общества, ими руководимого, к себе уважения. А так как сила ума есть единственное незыблемое и неоспоримое преимущество одного человека перед другим, то никто и не хочет склониться перед этим преимуществом до тех самых пор, пока одаренные преимуществом ученики не перестанут гордиться им и не будут считать скудоумие за что-то позорное и достойное едкой насмешки. Вот почему никто и не хочет быть дураком и таким образом невольно впадает в ошибку против своего же человеческого достоинства. Дурак-то именно и не должен бы был краснеть за свою глупость, потому что не виноват, если природа родила его дураком... Но, видно, инициатива должна выйти от привилегированных умников; дураку же простительно, если он не умнее умных людей. Я знаю, например, одного... ну, хоть промышленника (ведь нынче в ходу промышленность, даже в литературе; к тому же промышленник – это такое общее, безобидное слово, почти отвлеченное)... Так вот, если б кто спросил этого промышленника, что ему будет приятнее: название мошенника или дурака? – то он, я уверен в этом, немедленно согласился бы на мошенника, несмотря на то, что он

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
хоть и в самом деле мошенник, но все-таки гораздо более дурак, чем мошенник, и сам это знает и знает еще, что и все это знают. Вот почему люди в наш век бывают иногда уже слишком робки на выражение иных убеждений, даже самых задушевных. Они именно боятся, что их назовут отсталыми, неумными. Ум, ум, самая тревожная боязнь за свой ум – вот в чем главное дело! Умалчивая о своих убеждениях, они охотно и с яростию будут поддакивать тому, чему просто не верят, над чем втихомолку смеются, – и все это из-за того только, что оно в моде, в ходу, установлено столпами, авторитетами. Как же можно пойти против авторитетов! А между тем кто искренно убежден, тот, кажется, должен бы уважать свои убеждения; а уважающий свои убеждения должен хоть что-нибудь для них сделать. Всякий честный человек обязан... и т. д., и т. д.

– Ну, уж это пошло у вас из прописей, – скажет читатель и, пожалуй, бросит читать.

В самом деле, только что захочешь высказать, по своему убеждению, истину, тотчас выходит как будто из прописей! Что за фокус! Почему множество современных истин, высказанных чуть-чуть в патетическом тоне, сейчас же смахивает на прописи? Отчего в наш век, чтоб высказать истину, все более и более ощущается потребность прибегать к юмору, к сатире, к иронии; подслащать ими истину, как будто горькую пилюлю; представлять свое убеждение публике с оттенком какого-то высокомерного к нему равнодушия, даже с некоторым оттенком неуважения, – одним словом, с какой-то подленькой уступочкой. По нашему мнению, честному человеку не следует краснеть за свои убеждения, даже если б они были и из прописей, особенно если он в них верует. Мы говорим: особенно, потому что ведь есть и такие убежденные, которые сами в свои убеждения не веруют и, убеждая других, поминутно задают себе вопрос: да уж не врешь ли ты, братец? а между тем горячатся за эти убеждения до ярости, и иногда вовсе не потому, чтоб хотели обманывать людей. Я знал одного господина, одного убежденного, который сам в этом сознавался. Он принадлежал к тому разряду бесспорно умных людей, которые всю жизнь только и делают, что одни глупости. Кстати: люди ограниченные, тупые, гораздо меньше делают глупостей, чем люди умные, – отчего это? И когда мы стали спрашивать этого сознавшегося господина: для чего ж он убеждает других, если сам не верует? и откуда он берет весь этот жар, всю эту ярость убеждения, если сам в своих словах сомневается, – то он отвечал, будто оттого и горячится, что все пробует самого себя убедить. Вот что значит полюбить идею снаружи, из одного к ней пристрастия, не доказав себе (и даже боясь доказывать), верна она или нет. А кто знает, ведь, может, и правда, что иные всю жизнь горячатся даже с пеною у рта, убеждая других, единственно чтоб самим убедиться, да так и умирают неубежденные... Но довольно!.. Мы убедили себя окончательно. Пусть же теперь про нас думают, что мы увлекаемся своей идеей, что она неверна, неосновательна; что мы преувеличиваем; что в нас слишком много юношеского жара или, пожалуй, старческого скудоумия, что в нас мало такта, и проч., и проч. Пусть думают! Ведь мы уверены, что не можем никому повредить, высказав прямо то, во что веруем. Отчего же не говорить? Отчего же именно непременно молчать?

3

Да, мы веруем, что русская нация – необыкновенное явление в истории всего человечества. Характер русского народа до того не похож на характеры всех современных европейских народов, что европейцы до сих пор не понимают его и понимают в нем все наоборот. Все европейцы идут к одной и той же цели, к одному и тому же идеалу; это бесспорно так. Но все они разъединяются между собою почвенными интересами, исключительны друг к другу до непримиримости, и все более и более расходятся по разным путям, уклоняясь от общей дороги. По-видимому, каждый из них стремится отыскать общечеловеческий идеал у себя, своими собственными силами, и потому все вместе вредят сами себе и своему делу. Повторяем теперь серьезно то, что сказали выше в шутку: англичанин до сих пор не может понять никакой разумности во французе, и, наоборот, француз в англичанине, и это не только у них сборное мнение, инстинктивное чувство всей нации, но замечается даже в первых людях, в предводителях обеих наций. Англичанин смеется над своим соседом при всяком случае и с непримиримой ненавистью глядит на национальные его особенности. Соперничество лишает их, наконец, беспристрастия.

Они перестают понимать друг друга; они раздельно смотрят на жизнь, раздельно веруют и поставляют это себе за величайшую честь. Они все упорнее и упорнее отделяются друг от друга своими правилами, нравственностью, взглядом на весь божий мир. И тот и другой во всем мире замечают только самих себя, а всех других – как личное для себя препятствие, и каждый отдельно у себя хочет совершить то,

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
что могут совершить только все народы, все вместе, общими соединенными силами. Что же? Неужели это только остатки старинных соперничеств? Неужели причины разъединения надо искать во времена Жанны д'Арк или крестовых походов? Неужели цивилизация так бессильна, что не могла одолеть до сих пор эти ненависти? Не искать ли их скорее в самой почве, а не в случайностях, в крови, в целом духе обоих народов?

Михаил Андреевич Достоевский – отец Федора Михайловича. Был человек угрюмый, нервный, подозрительный.

Мария Федоровна Достоевская – мать писателя. Была человеком жизнерадостным, добрым, религиозным

Большую частью таковы и все европейцы. Идея общечеловечности все более и более стирается между ними. У каждого из них она получает другой вид, тускнеет, принимает в сознании новую форму. Христианская связь, до сих пор их соединявшая, с каждым днем теряет свою силу. Даже наука не в силах соединить все более и более расходящихся. Положим, они отчасти правы в том отношении, что эти-то исключительности, это взаимное соперничество, эта-то замкнутость от всех в самих себя, эта гордая надежда на себя одного – и придают каждому из них такие исполинские силы в борьбе с препятствиями на пути. Но тем самым эти препятствия все более и более увеличиваются и умножаются. Вот почему европейцы совершенно не понимают русских и величайшую особенность в их характере называли безличностью. Мы согласны, что выговариваем все это бездоказательно. Доказывать все это теперь мы считаем не в пределах нашей статьи. Но с нами согласятся по крайней мере, что в русском характере замечается резкое отличие от европейского, резкая особенность, что в нем по преимуществу выступает способность высокосинтетическая, способность всепримиримости, всечеловечности. В русском человеке нет европейской угловатости, непроницаемости, неподатливости. Он со всеми уживается и во все вживается. Он сочувствует всему человеческому вне различия национальности, крови и почвы. Он находит и немедленно допускает разумность во всем, в чем хоть сколько-нибудь есть общечеловеческого интереса. У него инстинкт общечеловечности. Он инстинктом угадывает общечеловеческую черту даже в самых резких исключительностях других народов; тотчас же соглашается, примиряет их в своей идее, находит им место в своем умозаключении и нередко открывает точку соединения и примирения в совершенно противоположных, сопернических идеях двух различных европейских наций, – в идеях, которые сами собою, у себя дома, еще до сих пор, к несчастью, не находят способа примириться между собою, а может быть, и никогда не примирятся. В то же самое время в русском человеке видна самая полная способность самой здоровой над собой критики, самого трезвого на себя взгляда и отсутствие всякого самовозвышения, вредящего свободе действия. Разумеется, мы говорим про русского человека вообще, собирательно, в смысле всей нации. Даже физическими способностями русский не похож на европейцев. Всякий русский может говорить на всех языках и изучить дух каждого чуждого языка до тонкости, как бы свой собственный русский язык, – чего нет в европейских народах, в смысле всеобщей народной способности. Неужели же это не указывает на что-нибудь? Неужели это только одно случайное, бесцельное явление? Неужели по таким явлениям нельзя осмыслить и хоть отчасти предугадать хоть что-нибудь в будущем развитии нашего народа, в его стремлениях и целях? И вот эта-то нация, усиленная обстоятельствами, столько веков враждебно смотрела на Европу и упорно не хотела жить с нею и не предчувствовала своей будущности! Петр почувствовал в себе каким-то инстинктом новую силу и угадал потребность расширения взгляда и поля действия для всех русских, – потребность, скрытую в них бессознательно и бессознательно вырывающуюся наружу и которая была в их крови еще со славянских времен.

Говорят, что он хотел сделать из России только Голландию? Не знаем; лицо Петра, несмотря на все исторические разъяснения и изыскания последнего времени, до сих пор еще очень для нас загадочно. Мы понимаем только одно: что нужно было быть слишком оригинальным, чтоб, быв московским царем, вздумать – не только полюбить, но даже поехать в Голландию. Неужели ж один женевец Лефорт был и в самом деле всему причиной? Во всяком случае, в лице Петра мы видим пример того, на что может решиться русский человек, когда он выживет себе полное убеждение и

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r почувствует, что пора пришла, а в нем самом уже созрели и сказались новые силы. И страшно, до какой степени свободен духом человек русский, до какой степени сильна его воля! Никогда никто не отрывался так от родной почвы, как приходилось иногда ему, и не поворачивал так круто в другую сторону, вслед за своим убеждением! И кто знает, господа иноземцы, может быть, России именно предназначено ждать, пока вы кончите; тем временем проникнуться вашей идеей, понять ваши идеалы, цели, характер стремлений ваших; согласить ваши идеи, возвысить их до общечеловеческого значения и, наконец, свободной духом, свободной от всяких посторонних, сословных и почвенных интересов, двинуться в новую, широкую, еще неведомую в истории деятельность, начав с того, чем вы кончите, и увлечь вас всех за собою. Сравнил же наш поэт Лермонтов Россию с Ильей Муромцем, который тридцать лет сидел сиднем и вдруг пошел, только лишь сознал в себе богатырскую силу. К чему же даны такие богатые и оригинальные способности русским? Неужели же для того, чтоб ничего не делать? Может быть, нам скажут: откуда в вас столько хвастливости, откуда такое высокомерие? Где же ваша способность самоосуждения, где ваш трезвый взгляд, которыми вы так хвалились? Но, ответим мы, если мы начали с того, что вынесли столько самоосуждения, которому сами долго себя подвергали, то можем вынести и другую правду, хотя бы она была и совершенно обратна самоосуждению. На нашей памяти, – как мы бранили себя славянами за то, что не могли сделаться теперешними европейцами. Неужели ж нельзя сознаться теперь, что мы тогда говорили вздор? Мы не отвергаем способности самоосуждения, любим ее и именно признаем ее за лучшую сторону русской природы, за ее особенность, за то, чего у вас вовсе нет. Мы знаем, что еще много нам предстоит упражняться в самоосуждении, даже, может быть, чем дальше, тем больше. Попробуйте, однако ж, затронуть француза, ну хоть в храбрости, или в его *legion d'honneur*'е. Затроньте англичанина хоть бы в самой малейшей домашней его привычке и увидите, что они вам скажут. Почему же не похвалиться, что в нас русских нет такой щепетильности и обидчивости, исключая, может быть, одних так называемых литературных генералов наших. Мы веруем в силу русского духа не менее, чем кто бы то ни было. Неужели он не вынесет похвалы? Нет, господа европейцы! Не спрашивайте пока от нас доказательств нашего мнения о вас и о себе и постарайтесь прежде получше узнать нас, если только вам будет на это досуг.

Вот вы уверены, что мы свистали при ваших неудачах, надменно радовались им и плевали на ваши усилия, когда вы так мужественно и великодушно ринулись было на новый путь прогресса. Нет, нет, старшие братья наши, любезные и дорогие, мы вам не свистали, не радовались неудачам вашим. Мы иногда даже плакали вместе с вами. Вы, конечно, сейчас же удивитесь и спросите: да чего же вы-то плакали? Вам-то что было за дело? Ведь вы тут совершенно были сбоку припека? Ах, господа, ответим мы вам, да ведь в том-то все и дело, что сбоку припека, а между тем вам сочувствовали! В том-то вся и загадка. Вот вы, например, откуда-то взяли, что мы фанатики, то есть что нашего солдата у нас возбуждают фанатизмом. Господи боже! Если б вы знали, как это смешно! Если есть на свете существо вполне не причастное никакому фанатизму, так это именно русский солдат. Те из нас, кто бывал и жывал с солдатами, знают это до точности. Если б вы знали, какие это милые, симпатичные, родные типы! О, если бы вам удалось прочесть хоть рассказы Толстого; там кое-что так верно, так симпатично схвачено! Да что! неужели Севастополь русские защищали из религиозного фанатизма?

Я думаю, ваши храбрые зуавы хорошо познакомились с нашими солдатами и знают их. Много ли они от них видели ненависти? И как хорошо знаете вы тоже наших офицеров! Вы задали себе, что у нас всего только два сословия: *les boyards* и *les serfs*; на том и сидите. Какие тут *boyards*! Положим, что у нас довольно цельно определены сословия. Но во всех сословиях наших гораздо более точек соединения, чем разъединения, а в этом все и дело. Это залог нашего всеобщего мира, спокойствия, братской любви и процветания. Всякий русский прежде всего русский, а потом уже принадлежит к какому-нибудь сословию. Не так у вас, и мы вас сожалеем. У вас бывает даже совершенно обратно. Из сословного интереса у вас предавалась иногда в жертву вся нация, и даже очень недавно, даже иногда и теперь, даже, наверно, еще много раз будет. Значит, еще очень сильны у вас сословия и всякие корпорации. Вы с удивлением спрашиваете: но где же ваше-то хваленое развитие, в чем прогресс ваш? кажется, наделе не видно того? Нет, видно, отвечаем мы, да вам-то не видно; вы не туда смотрите. Довольно уж и того, что оно в духе и в потребностях всего народа; довольно и того, что хоть самое маленькое меньшинство наше начинает соглашаться между собою хоть в общем, хоть в целом.

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r

Не называйте нас надменными и недальновидными скороспелками. Нет, мы давно уже во все вглядываемся, все анализируем; задаем себе загадки; тоскуем и мучаемся загадками. Анализ начался у нас недавно, но, по-нашему, очень давно, и мы даже самим себе надоели этим до тошноты. Ведь мы тоже жили и много прожили. А кстати: не рассказать ли вам нашу собственную повесть, повесть нашего развития, нашего роста? Разумеется, мы не начнем с Петра Великого; мы начнем с недавнего времени, именно с того, когда во все образованное сословие наше вдруг стал проникать анализ. Извольте. Бывали минуты, что мы, то есть цивилизованные, и в себя не верили. Поль де Кока мы еще тогда читали, но с презрением отвергали Александра Дюма и всю компанию. Мы набросились на одного Жорж-Занда и – боже, как мы тогда зачитались! Андрей Александрович купно с г-ном Дудышкиным, поселившимся в «Отечественных записках» после Белинского, еще до сих пор вспоминает Жорж-Занда; прочтите объявление об их журнале на 61-й год. Тогда мы смиренно выслушивали ваши приговоры о нас самих и вам же усердно поддакивали. Да; мы поддакивали и – не знали, что делать. От нечего делать мы основали тогда натуральную школу. И сколько у нас проявилось талантливых натур! не писателей талантливых – те особо; а натур, талантливых во всех отношениях. Господин надворный советник Щедрин знает, что означает это словечко. И как эти талантливые натуры ломались и кривлялись тогда перед нами, а мы их разглядывали, пересуживали, осмеивали их в глаза и заставляли их же смеяться над самими собою. И они смеялись над собою, но как-то по принципу и с какой-то отвратительной затаенной злобой. Тогда все делалось по принципу; мы и жили по принципу, и ужасно боялись сделать что-нибудь не по новым идеям. Родилось у нас тогда какое-то усиленное самообвинение и самоуличение, а вместе с тем все наперерыв уличали и обличали друг друга; и, господа, как они все тогда сплетничали! И ведь все это было большею частью искренно. Конечно, являлись между ними и промышленники; но были и самые искренние, так, сдуру, из прекрасного чувства. Случалось, что иной искренний господин вдруг, наедине как-нибудь вечером, вломится в душу другого искреннего господина и начнет ему повествовать о своих погибельных днях и «какой, дескать, я выхожу подлец». Другой расчувствуется и начнет, с своей стороны, то же самое. И вот пустятся один перед другим наперерыв, даже клеветят на себя от излишнего жара, точно хвалятся. И наговорят они оба взаимно столько о себе самих мерзостей, что на другой день даже стыдно им встретиться друг с другом; так и избегают друг друга.

Были у нас и байронические натуры. Они большею частью сидели сложа руки и... даже уж и не проклинали. Так только, лениво иногда ослаблялись. Они даже смеялись над Байроном за то, что он так сердился и плакал, что лорду уж и совсем неприлично. Они говорили, что и не стоило сердиться и проклинать, – что уж так все гадко, что даже пальцем пошевелить не хочется и что хороший обед всего дороже. И когда они говорили это, мы с благоговением внимали их словам, думая видеть в их мнении о хорошем обеде какую-то таинственную, тончайшую и ядовитейшую иронию. А те уплетали себе в ресторанах и жирели не по дням, а по часам. И какие из них бывали краснощекие! Иные же не останавливались на иронии жирного обеда и шли все дальше и дальше; они преусердно начали набивать свои карманы и опустошать карманы ближнего. Многие пошли потом в шулера. А мы смотрели с благоговением, разиня рот и удивляясь. Что ж? говорили мы друг другу, ведь это у них тоже по принципу; надо же взять от жизни все, что она может дать. И когда они, на наших глазах, воровали платки из карманов, то мы даже и в этом находили какую-то утонченность байронизма, дальнейшее его развитие, еще неизвестное Байрону. Мы ахали и грустно качали головами. «Вот до чего, – говорили мы, – может довести отчаяние; человек сгорает добром, преисполнен благороднейшего негодования, кипит жаждой деятельности, но действовать ему не дают, его обрезали, и вот – он с демоническим хохотом передергивает в карты и ворует платки из карманов». И как чистосердечны, как ясны душой вышли многие из нас из всего этого срама. Куда многие! – почти все, кроме, разумеется, Байронов. Были у нас и высокочистые сердцем, которым удалось высказать горячее, убежденное слово. О, те не жаловались, что им не дают высказаться, что обрезают их поле деятельности, что антрепренеры высасывают из них последние соки, то есть они и жаловались, но не складывали рук и действовали как могли; а и все-таки действовали, хоть что-нибудь, да делали и... многое, очень многое сделали! Они были невинны и простодушны, как дети, и всю жизнь не понимали своих сотрудников Байронов и умерли наивными страдальцами. Мир праху их! Были у нас и демоны, настоящие демоны; их было два, и как мы любили их, как до сих пор мы их любим и ценим! Один из них все смеялся; он смеялся всю жизнь и над собой и над нами, и мы все смеялись за ним, до того смеялись, что наконец стали плакать от нашего смеха. Он постиг назначение поручика Пирогова; он из пропавшей у чиновника шинели сделал нам ужасную трагедию. Он рассказал нам в трех строках всего

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.rязанского поручика, – всего, до последней черточки. Он выводил перед нами приобретателей, кулаков, обирателей и всяких заседателей. Ему стоило указать на них пальцем, и уже на лбу их зажигалось клеймо навеки веков, и мы уже наизусть знали, кто они и, главное, как называются. О, это был такой колоссальный демон, которого у вас никогда не бывало в Европе и которому вы бы, может быть, и не позволили быть у себя. Другой демон – но другого мы, может быть, еще больше любили. Сколько он написал нам превосходных стихов; писал он и в альбомы, но даже сам г-н – бов посовестился бы назвать его альбомным поэтом. Он проклинал и мучился, и вправду мучился. Он мстил и прощал, он писал и хохотал – был великодушен и смешон. Он любил нашептывать странные сказки заснувшей молодой девочке и смущал ее девственную кровь, и рисовал перед ней странные видения, о которых еще ей не следовало бы грезить, особенно при таком высоконравственном воспитании, которое она получила. Он рассказывал нам свою жизнь, свои любовные проделки: вообще он нас как будто мистифицировал; не то говорит серьезно, не то смеется над нами. Наши чиновники знали его наизусть, и вдруг все начали корчить Мефистофелей, только что выйдут, бывало, из департамента. Мы не соглашались с ним иногда, нам становилось и тяжело, и досадно, и грустно, и жаль кого-то, и злоба брала нас. Наконец ему наскупило с нами; он нигде и ни с кем не мог ужиться; он проклял нас, и осмелял «насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом», и улетел от нас, – «и над вершинами Кавказа Изгнанник рая пролетал».

Мы долго следили за ним, но наконец он где-то погиб – бесцельно, капризно и даже смешно. Но мы не смеялись. Нам тогда вообще было не до смеху. Теперь дело другое. Теперь бог послал нам благодетельную гласность, и нам вдруг стало веселее. Мы как-то вдруг поняли, что все это мефистофельство, все эти демонические начала мы как-то рано на себя напустили, что нам еще рано проклинать себя и отчаиваться, несмотря на то что еще так недавно господин Ламанский среди всего Пассажа доложил нам, что мы не созрели. Господи, как мы обиделись!

Господин Погодин прискакал из Москвы на почтовых, запыхавшись, и тут же начал всенародно утешать нас и, разумеется, тотчас же нас уверил (даже без большого труда), что мы совершенно созрели. С тех пор мы такие гордые. У нас Щедрин, Розенгейм... Помним мы появление г-на Щедрина в «Русском вестнике». О, тогда было такое радостное, полное надежд время! Ведь выбрал же г-н Щедрин минутку, когда явиться. Говорят, в «Русском вестнике» прибавилось вдруг столько подписчиков, что и сосчитать нельзя было, несмотря на то что почтенный журнал уж и тогда начинал толковать о Кавуре, об английских лордах и фермерстве. С какою жадностью читали мы о Живоглотах, о поручике Живновском, о Порфирии Петровиче, об озорниках и талантливых натурах, – читали и дивились их появлению. Да где ж они были, спрашивали мы, где ж они до сих пор прятались? Конечно, настоящие живоглоты только посмеивались. Но всего более нас поразило то, что г-н Щедрин едва только оставил северный град, Северную Пальмиру (по всегдашнему выражению г-на Булгарина – мир праху его!), как тотчас же у него и замелькали под пером и Аринушки, и несчастненькие с их крутогорской кормилицей, и скитник, и матушка Мавра Кузьмовна, и замелькали как-то странно, как-то особенно. Точно непременно так уж выходило, что как только выедешь из Пальмиры, то немедленно заметишь всех этих Аринушек и запоешь новую песню, забыв и Жорж-Занд, и «Отечественные записки», и г-на Панаева, и всех, и всех. И вот разлилась как море благодетельная гласность; громко звякнула лира Розенгейма; раздался густой и солидный голос г-на Громеки, мелькнули братья Милеанты, закишели бессчетные иксы и зеты, с жалобами друг на друга в газетах и повременных изданиях; явились поэты, прозаики, и все обличительные... явились такие поэты и прозаики, которые никогда бы не явились на свет, если б не было обличительной литературы. О, не думайте, г-да европейцы, что мы пропустили Островского. Нет; ему не в обличительной литературе место. Мы знаем его место. Мы уже говорили не раз, что веруем в его новое слово и знаем, что он, как художник, угадал то, что нам снилось еще даже в эпоху демонических начал и самоуличений, даже тогда, когда мы читали бессмертные похождения Чичикова. Грезилось и желалось все это нам, как дождя на сухую почву. Мы даже боялись и высказать, чего нам желалось. Г-н Островский не побоялся... но об Островском потом. Мы не располагали о нем говорить теперь; мы только хотели поговорить о благодетельной гласности. О, не верьте, не верьте, почтенные иноземцы, что мы боимся благодетельной гласности, только что завели – и испугались ее, и прячемся от нее. Ради бога, пуще всего не верьте «Отечественным запискам», которые смешивают гласность с литературой скандалов. Это только показывает, что у нас еще много господ точно с ободранной кожей, около которых только пахнут ветром, так уж им и больно; что у нас еще много

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
господ, которые любят читать про других и боятся, когда другие прочтут что-нибудь и про них. Нет, мы любим гласность и ласкаем ее, как новорожденное дитя. Мы любим этого маленького бесенка, у которого только что прорезались его маленькие, крепкие и здоровые зубенки. Он иногда невпопад кусает; он еще не умеет кусать. Часто, очень часто не знает, кого кусать. Но мы смеемся его шалостям, его детским ошибкам, и смеемся с любовью, что же? детский возраст, простительно! Грешные люди – мы даже смеялись за ним, когда он не побоялся «оскорбить своей насмешкой» даже самих братьев Милеантов, столь почтенных и столь невинных, которых имя так неожиданно вдруг прогремело по всей России... Нет, мы не боимся гласности, мы не смущаемся ею. Это все от здоровья, это все молодые соки, молодая неопытная сила, которая бьет здоровым ключом и рвется наружу!.. все хорошие, хорошие, признаки!..

4

Но что мы говорим о гласности! Всегда, во всяком обществе есть так называемая золотая посредственность, претендующая на первенство. Эти золотые страшно самолюбивы. Они с уничтожающим презрением и с нахальной дерзостью смотрят на всех неблистающих, неизвестных, еще темных людей. Они-то первые и начинают бросать камни в каждого новатора. И как они злы, как тупы бывают в своем преследовании всякой новой идеи, еще не успевшей войти в сознание всего общества. А потом какие крикуны выходят из них, какие рьяные и вместе с тем тупые последователи этой же самой идеи, когда она получает преобладающее значение в обществе, несмотря на то что они ее и преследовали вначале. Разумеется, они поймут наконец новую мысль, но поймут всегда после всех, всегда грубо, ограниченно, тупо и никак не допускают соображения, что если идея верна, то она способна к развитию, а если способна к развитию, то непременно со временем должна уступить другой идее, из нее же вышедшей, ее же дополняющей, но уже соответствующей новым потребностям нового поколения. Но золотые не понимают новых потребностей, а что касается до нового поколения, то они всегда ненавидят его и смотрят на него свысока. Это их отличительнейшая черта. В числе этих золотых всегда бывает чрезвычайно много промышленников, выезжающих на модной фразе. Они-то и опошливают всякую новую идею и тотчас же обращают ее в модную фразу. Они опошливают все, до чего ни прикасаются. Всякая живая идея в их устах обращается в мертвечину. Награду же за нее получают всегда они первые, на другой день после похорон гениального человека, ее провозгласившего и которого они же преследовали. Иные из них до того ограничены, что им серьезно кажется, что гениальный человек ничего не сделал, а сделали все они. Самолюбие в них страшное. Мы сказали уже, что они чрезвычайно тупы и неловки, хотя кажутся толпе умными, все больше берут резкими и азартными фразами, впадают в крайности, не понимая ни смысла, ни духовной постройки идеи и таким образом вредят ей даже и тогда, когда искренно разделяют ее. Например: подымется между мыслителями и филантропами вопрос, ну хоть бы о женщине, об облегчении ее участи в обществе, об уравнении прав ее с правами мужчины, о деспотизме мужа и проч., и проч. Золотые непременно поймут это так, что брак немедленно должен разрушиться; главное – немедленно. Мало того, – что всякая женщина не только может, но даже должна быть неверною своему мужу, и что в этом-то и состоит настоящий нравственный смысл всей идеи. Всего смешнее смотреть на этих господ, когда, например, общество, в какое-нибудь хлопотливое, переходное время, разделяется на два убеждения. Тогда они не знают, к кому, к чему пристать; а между тем нередко считаются столпами, авторитетами: нужно высказать свое мнение. Что им делать? После долгих колебаний золотой господин решает и всегда невпопад. Это уже закон. Это тоже главнейшая черта золотого господина. Так и прорвется на чем-нибудь самым грубым, самым нелепым образом, так что, случалось, иные из их решений переходили в потомство как пример тупоумия. Но мы отвлеклись от дела. Не одна гласность преследуется в наше время. Преследуется и грамотность, и даже именно теми, которые в свое время казались нам в числе людей если не передовых, то не отсталых и, главное, страшно благоразумных. Мы говорим страшно, потому что многие из них до того авторитетно и свысока смотрели на всех людей темных, до того чванились своим здравым смыслом и так называемым ясным, практическим пониманием вещей, что при них даже неловко было сидеть. Так и хотелось уйти в другую комнату. Такой господин крепится иногда лет двадцать среди благомыслящих и передовых и считается передовым, так что наконец и сам уверен, что он передовой, и вдруг брякнет что-нибудь до того неожиданное, что только одна помещица Коробочка могла бы так сбрыкнуть в каком-нибудь случае, ну хоть, например, если б ее пригласили решить вопрос о европейском финансовом кризисе. Но мы заговорили о постороннем и отвлеклись от предмета. Перейдем к делу. Мы заговорили о грамотности.

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r

Известен факт, что грамотное простонародие наполняет остроги. Тотчас же из этого выводят заключение, что не надо грамотности. Логически ли это? Нож может обрезать, так не надо ножа. – Нет, скажут нам, не «не надо ножа», а надо давать его только тем, которые умеют владеть им и не обрежутся. – Хорошо. Следственно, по-вашему, надо сделать из грамотности что-то вроде привилегии. Но не лучше ли было бы вам, господа, обратить сперва внимание на те обстоятельства, которыми обставлена в нашем простонародье грамотность, и посмотреть, нельзя ли как устранить эти обстоятельства, а не лишать весь народ духовного хлеба. Мы признаем вместе с вами, что грамотное простонародье наполняет остроги. Но рассмотрите, как и отчего это происходит? Мы расскажем вам это так, как сами поняли, после долголетних наблюдений над острожною жизнью. Во-первых, в нашем простонародье грамотных так мало, что грамота, действительно, дает иногда человеку перед другими некоторое преимущество, придает ему большее достоинство, более солидности, отличия, возвышения над своей средой. Простонародье не то чтоб считало грамотного лучше себя в каком-нибудь отношении – нет, оно признает в грамотном только более сильного человека, чем оно само, более возвышающегося над многими хлопотливыми обстоятельствами обыденной жизни, одним словом – признает в грамотности житейскую пользу. Грамотного и бумагой какой-нибудь не надуешь, и в другом чем-нибудь не проведешь. Со своей стороны, грамотный как-то невольно склонен считать себя выше всей окружающей его среды людей темных и неграмотных. Разумеется, более или менее. А считая себя выше, он уже не совсем спокойно относится к этой среде, в которой живет вместе с другими. У него естественно рождается мысль, что ему уже и не следует, что он и не должен третироваться так, как эти темные люди. «Они, дескать, темные, а мы народ грамотный». Его так и подмывает, при случае, выйти из рядов. К нему же почти всегда бывает некоторый оттенок уважения, иногда самый неприметный, а иногда и очень сильный, особенно если он умеет вести себя, то есть держит себя солидно, красноречив, велеречив, немножко педант, презрительно молчит, когда все говорят, и заговорит именно тогда, когда все замолчат, не зная что говорить, одним словом, если держит себя так, как держат себя некоторые наши умники и некоторые наши мыслители, передовые, практические люди и некоторые литературные генералы, одним словом – все те, которых вы так хорошо знаете. Та же наивность, те же смешно нетерпеливые выходки. Короче, во всех слоях общества одно и то же, только в каждом слое в своем роде. Потребность заявить себя, отличиться, выйти из ряду вон есть закон природы для всякой личности; это право ее, ее сущность, закон ее существования, который в грубом, неустроенном состоянии общества проявляется со стороны этой личности весьма грубо и даже дико, а в обществе уже развившемся – нравственно-гуманным, сознательным и совершенно свободным подчинением каждого лица выгодам всего общества и, обратно, непрерывной заботой самого общества о наименьшем стеснении прав всякой личности. Следовательно, основание одно и то же, а разница только в употреблении прав своих. Взгляните на так называемых начетчиков между раскольниками и посмотрите, какое огромное деспотическое влияние они имеют на своих единоверцев. Даже само общество заключает в себе какую-то инстинктивную потребность выдвинуть из среды себя какую-нибудь исключительную личность; поставить ее как исключение перед собою, вне обычаев и принятых правил; признать за этой личностью что-то необыкновенное и преклониться перед нею. Таким образом появляются Иваны Яковлевичи, Марфуши и проч. Возьмем теперь совершенно другой пример.

Взгляните на иного лакея, дворового. Хотя он гораздо ниже крестьянина-хлебопашца в общественном своем положении, но так как ему кажется, что он выше, что фрак, белый официантский галстук и лакейские перчатки благородят его перед мужиком, то он уж и презирает его. И не говорите, что эта гадкая, низкая черта свойственна только грубому народу, то есть отречься от своих и пренебрегать ими при перемене судьбы своей. Черта гадкая, это правда; но за нее некого обвинять. Лакей не виноват, если, по темноте своей, видит привилегию в немецком платье. Для него главное в том, что он вошел в соприкосновение с господами, то есть с высшими; он обезьянничает их манеры, замашки; платье отличает его от прежней среды... Таким образом, и грамотность, как чрезвычайная редкость в народе, считает себя тоже отличною и привилегированною, и грамотный нередко презирает неграмотного. Ему хочется показать себя. Он становится самонадеян, нетерпелив, превращается в какого-то деспотика. Ему иногда может показаться, что с ним нельзя поступать так, как с другими, темными. Он нетерпелив; он дерзок на словах; ему неприлично перенести то, что все переносят, – особенно при свидетелях; он надменен. Надменность порождает в нем легкомыслие, легкомыслие – заносчивость. Иногда он уж слишком много на себя понадеется, заберется не по силам, и – вдруг обрывается, даже иногда совершенно нечаянно, и оттого, например, что в критическую минуту на него смотрели свои, перед которыми он

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
чванился, и ждали, что от него в эту критическую минуту будет. Вот он и показал
себя и... попал в острог. Разумеется, мы говорим не про всех грамотных. Мы
говорили отвлеченно; и смешно бы было утверждать, что только научится
простолюдин грамоте, так уж и попал в острог. Мы хотели только выяснить, каким
образом грамотность, как своего рода привилегия, может породить заносчивость и
самонадеянность, неуважение к среде своей и к своему положению, особенно если
оно не совсем приятное. Мы говорили теоретически и жалеем, что пределы нашей
статьи не позволяют нам представить несколько примеров, каким образом происходит
все это на практике, как развивается и к какому приходит концу. Повторим опять,
что мы говорили не про всех грамотных; из грамотных приходят в остроги уже
отчасти самой природой к тому предназначенные при известной обстановке, то есть
люди от природы упрямые, горячие, нервные, впечатлительные. На них-то
грамотность и действует привилегияльными своими неудобствами именно потому, что
у нас она и есть привилегия...

– Что ж из этого? – скажут нам. – Из ваших же слов выходит, что грамотность
вредна и что наше простолюдье до нее не дозрело.

– Напротив, – отвечаем мы, – вместо того, чтоб делать грамотность привилегией,
исключением, уничтожьте исключительность. Сделайте ее достоянием всех по
возможности, и она не породит ни в ком и ни при каких обстоятельствах ни
высокомерия, ни заносчивости. Не перед кем и заноситься-то будет – все будут
грамотные. А потому, чтоб уничтожить вредные последствия грамотности, нужно как
можно более распространять ее; в этом все лекарство. Тем более, господа
противники грамотности, что вы вашей-то системой (то есть стеснением
грамотности) не только не достигнете цели, но даже против себя действуете.
Рассудите: ведь вы стеснением грамотности никогда не уничтожите ее совершенно.
Правительство первое воспротивилось бы вашим рьяным усилиям и защитило бы народ
от вашей филантропии. Следственно, все-таки будут между народом грамотные; а
если будут, то все-таки будут наполнять остроги, следовательно, вы никого не
излечите, ничего не достигнете. Мало того, тем вернее будут наполняться остроги;
потому что чем меньше будет грамотности, тем более будет она иметь вид
привилегии. Согласитесь еще с этим: грамотность есть первый шаг к образованию;
как же достигнуть образования без этого первого шага? Ведь не можем же мы
серьезно представить себе, что вы нарочно хотите держать народ в темноте, в
пороках и в невежестве, одним словом – убить и развратить в нем душу? Или, может
быть, это тоже входит в вашу систему? Да, это правда! Нет человека упрямее,
капризнее и вреднее иного кабинетного филантропа! Но довольно, с
своей стороны, совершенно, что грамотность нравственно улучшит народ и придаст
ему чувство собственного достоинства, которое в свою очередь уничтожит многие
злоупотребления и беспорядки, уничтожит даже их возможность. Все зависит от
обстоятельств, и все на свете изменяется только сообразно с обстоятельствами.
Была бы только видна в обществе прямая, насущная потребность, проявилось бы
только первое сознание этой потребности – и она немедленно находит средство
удовлетворить себя. Напротив того, никакое даже действительное улучшение не
примется массой как улучшение, а напротив – как притеснение, если в массе не
образовалась еще хоть сколько-нибудь сознательно потребность этого улучшения.
Так и грамотность. Народ уже созрел до нее, он желает, ищет грамотности, и
потому она должна и будет распространяться, несмотря на все усилия филантропов.
Взгляните на воскресные школы. Дети наперерыв приходят учиться, иногда даже
тихонько от своих хозяев. Родители сами приводят своих детей к учителям. Да,
несмотря на то, что уже давно изучают у нас народ, что многие из наших
литераторов посвятили изучению его свои досуги и таланты, мы все-таки до сих пор
очень плохо знаем народ. Мы уверены, что лет десять, двенадцать назад многие
передовые тогдашние люди не поверили бы, что народ сам будет хлопотать об
основании обществ трезвости и толпиться в воскресных школах. Мы серьезно говорим
это, потому что наше мнение иные могли бы принять за шутку. Но наше
цивилизованное общество достигнет наконец того, что поймет народ – этого
неразгаданного сфинкса, как выразился недавно один из наших поэтов. Оно поймет
народное начало и проникнется им. Оно уже создало, что это необходимо как
основание нашего будущего развития и прогресса; оно создало, что за ним первый
шаг, и – найдет наконец, как сделать этот шаг.

5

Итак, все дело теперь в первом шаге, все дело в том, чтоб догадаться, как
сделать этот первый шаг, как выговорить это первое слово, чтоб народ услышал нас
и обратил к нам свое ухо и недоверчивое лицо свое. Разумеется, найдутся еще
очень многие господа, которые расхохочутся на слова наши.

Ну что ж им отвечать? Мы сами знаем, что таких господ – легион, да ведь до них нам и дела нет. Кстати, кто-то удостоверял, что мы, то есть именно наш журнал, берем на себя примирение цивилизации с народным началом. Мы считаем этот отзыв не более как за милую шутку. Ни одному человеку не сказать это неизвестное слово и не разгадать всю эту загадку. В программе нашего журнала мы только выставили главную мысль, которая будет руководить нас. Мы будем искать разгадку вместе со всеми. Мы будем только неустанно повторять и доказывать, что искать – надо; будем следить, разбирать, обсуживать, спорить и передавать наши результаты публике. Вот вся будущая деятельность наша. Слово – та же деятельность, а у нас – более чем где-нибудь. Слово, сказанное кстати, полезно; потому и мы имеем надежду, что и мы будем полезны. Журнал наш назначается для чтения образованного общества, так как за образованным обществом до сих пор еще первое слово и первый шаг ко всякой деятельности. Мы знаем, что для народного чтения у нас еще до сих пор ничего не сделано. Хоть и было бы что читать, но и то, что есть, недоступно народу. Всякую попытку устранить эту недоступность мы встретим с искреннею радостью. Но, повторяем, мы и в мыслях не имели назначать наш журнал прямо для народного чтения. Но довольно объясняться; обращаемся к нашему делу. Мы потому считаем за образованным сословием нашим первый шаг к новой деятельности, что оно первое и отделилось от народности. Трудов к сближению будет много; мы все это чувствуем, хотя и не сознаем еще ясно, в чем будут состоять они. Все дело в устранении недоразумений. Всякое недоразумение устраняется прямою, откровенною, любовью. Мы начинаем сознавать, что интерес нашего сословия в народном интересе, а народный интерес в нашем. Такое сознание, если б сделалось всеобщим, гарантировало бы прочность дела. Но если и нет этого сознания, то есть следы, что оно начинается, а теперь уж довольно и этого. Человек может ошибаться. Мы, с своей стороны, знаем, что ошибку в фальшь не ставят. Не в ошибках дело. Пусть желающие сближения сделают хоть тысячу ошибок; главное в том, чтоб народ видел и угадал это желание, чтоб он понял его и оценил – вот все, чего надо. Дело правое не погибнет и от нескольких ошибок. По крайней мере, идея, на которой все основано, останется незыблемой. Не удастся один шаг, удастся другой. Все состоит в правдивости и прямоте побуждения, в любви. Любовь есть основа побуждения, залог его прочности. Любовь города берет. Без нее же ничего и никто не возьмет, разве силой; но ведь есть такие вещи, которые никогда не возьмешь силой. Любовь понятнее всего, всяких хитростей и дипломатических тонкостей. Ее мигом узнаешь и отличишь. Народ понятлив и признателен; он знает, кто его любит. В народной памяти остаются только те, кого он любил.

Пример к сближению нам подал сам монарх, устранивший последние фактические к этому препятствия, и нет ничего выше, ничего святее его дела во все тысячелетие России. И хотя мы полтора века сряду приучали народ быть к нам недоверчивым, но вспомните басню – ведь не дождем, не ветром сдернуло плащ с путника, а солнцем. Много несчастий произошло на свете от недоумений и от недосказанности. Недосказанное слово вредит и вредило всегда. Неужели одному сословию бояться быть откровенным с другим? Чего бояться? Народ с любовью оценит в образованном сословии своих учителей и воспитателей, признает нас за настоящих друзей своих, оценит в нас не наемников, а пастырей и будет уважать нас. Мы должны, наконец, заслужить от него уважения. И какие великие силы возродятся тогда! Как все возрастет, возрастет и обновится! Как изменятся наши взгляды и так называемые законченные выводы! Куда денутся тогда наши «талантливые натуры», не находившие себе места, наши обленившиеся Байроны, слишком много занимающие места, потому, надо полагать, что на досуге они страшно растолстели! Конечно, недаром жили и вы, господа Байроны, и недаром толстели. Вы жили и протестовали; вы заявляли ваши желания... Мы смотрели на ваши скорбные фигуры и спрашивали: «О чем они скорбят, чего хотят, чего ищут?» Следственно, вы возбуждали наше любопытство; любопытство старалось отыскать ответ и – находило ответ. Итак, вы приносили хоть отрицательную пользу, хоть только тем, что жили между нами. Но теперь полно и вам горемычничать; сделайте и вы хоть что-нибудь. Вы все говорите, что у вас нет деятельности. Попробуйте, не найдете ли хоть теперь? Научите хоть одного мальчика грамоте; вот вам и деятельность. Но нет! вы с негодованием отворачиваетесь... «Какая же это для нас деятельность! – говорите вы, злобно улыбаясь, – мы таим в груди нашей исполинские силы. Мы хотим и можем сдвигать с места горы; из наших сердец бьет чистейший ключ любви ко всему человечеству.

Мы хотели бы разом обняться со всем человечеством. Мы хотим работы соразмерно с силами нашими; вот какой хотим мы деятельности и гибнем в бездействии. Нельзя же шагать вместо семи миль по вершку! Великану ль учить мальчика грамоте?» – Справедливо, господа; но если вы ничего не будете делать, то и умрете, ничего не

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
сделав; а тут все-таки хоть капелька первого шагу; один атом, но все-таки больше, чем ничего. И знаете ли что? Вы желаете исполнинской деятельности; хотите ли, мы вам дадим такую, которая выше всех ожиданий ваших? Даже горы сдвигать легче, чем исполнять эту деятельность. Вот она: пожертвуйте для всеобщего блага всем вашим великанством; шагайте вместо семи миль по вершку; проникнитесь идеей, что если нельзя шагать дальше, то вершок все-таки больше, чем ничего. Пожертвуйте всем – и великой природой вашей и великими идеями, помня, что все это для всеобщего блага; снизойдите, снизойдите до мальчика. Это будет колоссальнейшая жертва! Мало того: вы люди умные, талантливые, и если пожертвуете собой, снизойдете до обыденного, до маленького, то, может быть, тут же, с первого же шага отыщете еще какую-нибудь деятельность, более сильную, а потом еще и еще. Ведь дело только в начале, только начните. Начните-ка! а?.. Но виноваты, может быть, это не по вашим силам. Вы, пожалуй, можете пожертвовать и жизнью; но на такие усилия вы не способны. Конечно, мы внесем только одну десятую долю усилий; народ сам доставит остальные девять десятых. Но что же, скажут нам, вы хотите сделать с вашим образованием? чего достигнете? Вы хотите перейти к народному началу и несете народу образование, то есть ту же европейскую цивилизацию, которую сами признали за не подходящую к нам. Вы хотите переевропеить народ? – Но возможно ли, отвечаем мы, чтоб европейская идея на совершенно чуждой ей почве принесла те же результаты, как и в Европе. У нас до того все особенно, все непохоже на Европу во всех отношениях: и во внутренних, и во внешних, и во всевозможных, – что европейских результатов невозможно добыть на нашей почве. Повторяем: что подходит к нам – останется, что не подходит – само собою умрет. Можно ли сделать из народа нашего немцев? В сравнении с ним мы самое крошечное меньшинство, самостоятельных сил и средств у нас меньше, чем во всей громадной народной массе; а вот мы же были у немцев, и в целых полтора ста лет не поддались же европейскому влиянию, не сделались немцами. Значит, и мы, несмотря на наше меньшинство, на наши малые силы, на исключительное положение наше перед народом, все-таки заключали в себе великие русские начала общечеловечности и всепримиримости и не потеряли их. Они сказались в нас, и мы поняли, что не можем сделаться немцами, и сами захотели воротиться к родному началу. Мы устыдились своей недейтельности, своей несамодвижности среди громадной деятельности европейских племен, и поняли, что в Европе нам нечего делать. Не беспокойтесь, наука не наложит пут на народ наш; она только расширит его силы, и он скажет в ней свое слово. До сих же пор наука у нас не прививалась и была у нас как дорогой оранжерейный цветок. Особенной научной деятельности общество наше не выказало ни теоретической, ни практической, потому что было разъединено с родной почвой, а само по себе было слабо. Только казна строила мосты и дороги, да и то большею частью» заезжими инженерами.

Но привьется наконец и наука; все это совершится, может быть, тогда, когда уже нас не будет на свете. Мы даже и угадать не можем, что тогда будет, но знаем, что будет не совсем дурно. На долю же нашего поколения досталась честь первого шага и первого слова. Новая мысль уже не раз выражалась русским словом наружу. Мы начинаем изучать ее прежние выражения и открываем в прежних литературных явлениях факты, до сих пор не замеченные нами, но вполне подтверждающие эту мысль. Колоссальное значение Пушкина уясняется нам все более и более, несмотря на некоторые странные литературные мнения о Пушкине, выраженные в последнее время в двух журналах... Да, мы именно видим в Пушкине подтверждение всей нашей мысли. Значение его в русском развитии глубоко знаменательно. Для всех русских он живое уяснение, во всей художественной полноте, что такое дух русский, куда стремятся все его силы и какой именно идеал русского человека. Явление Пушкина есть доказательство, что дерево цивилизации уже дозрело до плодов и что плоды его не гнилые, а великолепные, золотые плоды. Все, что только могли мы узнать от знакомства с европейцами о нас самих, мы узнали; все, что только могла нам уяснить цивилизация, мы уяснили себе, и это знание самым полным, самым гармоническим образом явилось нам в Пушкине. Мы поняли в нем, что русский идеал – всецелость, всепримиримость, всечеловечность. В явлении Пушкина уясняется нам даже будущая наша деятельность. Дух русский, мысль русская выразились и не в одном Пушкине, но только в нем они явились нам во всей полноте, явились как факт, законченный и целый...

О Пушкине мы хотим сказать несколько подробнее в будущей статье нашей и доказательнее развить нашу мысль. В будущей же статье мы перейдем наконец и к русской литературе, будем говорить о теперешнем ее положении, о ее значении в теперешнем обществе, о некоторых ее недоразумениях, спорах, вопросах. В особенности хочется нам сказать несколько слов и об одном очень странном вопросе, который уже столько лет разделяет нашу литературу на партии и таким

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r образом парализует ее силы. Именно о знаменитом вопросе: искусство для искусства и проч., – все его знают. Нечего выписывать заглавие. Признаемся заранее, мы всего более удивляемся, как не надоел еще этот вопрос публике окончательно и она еще не отказывается читать целые о нем трактаты? Но мы постараемся написать наше мнение не в форме трактата.

Слово о нашем народе
(Из статьи «Два лагеря теоретиков»)

Именно в настоящее время мы нуждаемся в честном, прямом и, главное, верном слове о нашем народе... Народ теперь выступает на сцену, призванный к общественной жизни законоположениями 19 февраля. Что же он такое, что же это за неизвестная страна, о которой мы что-то слышали, к которой, по-видимому, близко и подходили; что это за новый элемент русской жизни, который скоро обновит нашу общественную жизнь? Что это, одним словом, за земство русское? Исторически о нем знаем мы только то, что когда-то оно было одним из главных заправляющих начал нашей жизни, потом постепенно отодвигалось на задний план разными обстоятельствами, что долгое время оно, по-видимому, замирало и только по временам заявляло себя в часто грозных протестах против горькой действительности... Вопрос о народе в настоящее время есть вопрос о жизни... От того или другого решения его зависит, может быть, судьба будущего русского прогресса. И это потому так, что вопрос о русском народе видоизменяется следующим образом: есть ли у нас в настоящее время земство как элемент, отличный от служилых сословий, есть ли еще в нем теперь какая-нибудь жизнь, может ли оно обновить наше небогатое жизненностью общество?..

Такой жизненный вопрос никогда не решится по теории. Он возникал у нас, хотя и не с такой силой, давно уж, когда наше общество пришло к сознанию своей особенности от других западноевропейских народов. Но любовь к теории помешала теоретикам взглянуть на факты прямо, понять их как следует.

Теория хороша, но при некоторых условиях. Если она хочет формулировать жизнь, то должна подчиниться ее строгому контролю. Иначе она станет посягать на жизнь, закрывать глаза на факты, начнет, как говорится, нагибать к себе действительность. Западники, составив себе теорию западноевропейской общечеловеческой жизни и встретясь с вовсе не похожей на нее русской жизнью, заранее осудили эту жизнь. Славянофилы, приняв за норму старый московский идеальчик, тоже сразу осудили в русской жизни все, что не укладывалось в их узкую рамку. Иначе, конечно, и быть не может. Раз положенное ложное начало ведет к самым ложным заключениям, потому что теория любит последовательность. Раз положенное узкое, одностороннее начало непременно, по той же самой последовательности теории, поведет к отрицанию тех сторон жизни, которые противоречат принятому принципу.

Но в том-то, пожалуй, и заслуга теоретиков, что они в иных случаях слишком последовательны и не боятся никаких заключений... Одна фаланга нынешних теоретиков не только отрицает существование русского земства, не признает его началом, которое должно жить, но просто отрицает в самом принципе народность. Мы не станем слишком подробно разбирать мнение этой фаланги, потому что это отняло бы у нас слишком много времени и места, а главное, потому, что теория эта слишком узка и поверхностна, да и стара также. Еще у Шиллера маркиз Поза мечтает о космополитизме. Относительно предмета, который нас занимает теперь, она не выдерживает в наше время критики, и мы ограничимся о ней несколькими словами.

«Наш идеал, – говорит один лагерь теоретиков, – характеризуется общечеловеческими свойствами. Нам нужен человек, который был бы везде один и тот же – в Германии ли то, в Англии или во Франции, который воплощал бы в себе тот общий тип человека, какой выработался на Западе. Все, что приобретено им общечеловеческого, смело давайте всякому другому народу, вносите общечеловеческие элементы во всякую среду, какова бы она ни была. К чему тут толки о почве, с которой будто бы нужно справляться, при усвоении ей начал, выработанных другим народом?»

Флигель Мариинской больницы на ул. Божедомка (ныне ул. Достоевского) в Москве, где родился и провел детство Ф.М. Достоевский

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r

Таким образом, из всего человечества, из всех народов теоретики хотят сделать нечто весьма безличное, которое во всех бы странах земного шара, при всех различных климатических и исторических условиях, оставалось бы одним и тем же... Задача тут, как видно, широкая, и цель высокая... Жаль только, что не в широте задачи и высоте цели тут дело. Нам бы сильно хотелось, если б кто-нибудь из этого рода теоретиков решил бы следующие вопросы: точно ли выиграет много человечество, когда каждый народ будет представлять из себя какой-то стертый грош, и какая именно будет оттого польза? Пусть кто-нибудь из теоретиков укажет нам тот общечеловеческий идеал, который выработать из себя должна всякая личность. Целое человечество еще не выработало такого идеала, потому что образование, собственно, только в какой-нибудь двадцатой доле человечества. А если тот общечеловеческий идеал, который у них есть, выработан одним только Западом, то можно ли назвать его настолько совершенным, что решительно всякий другой народ должен отказаться от попыток принести что-нибудь от себя в дело выработки совершенного человеческого идеала и ограничиться только пассивным усвоением себе идеала по западным книжкам? Нет, тогда только человечество и будет жить полною жизнью, когда всякий народ разовьется на своих началах и принесет от себя в общую сумму жизни какую-нибудь особенно развитую сторону. Может быть, тогда только и можно будет мечтать нам о полном общечеловеческом идеале. Иногда приходят нам в голову и такого рода мысли, что каждый, развиваясь при особых условиях, исключительно свойственных той стране, которую он заселяет, неизбежно образует свое мирозерцание, свой склад мысли, свои обычаи, свои уставы в общественной жизни... И думается, что если физически невозможно заставить народ отрешиться от всего им нажитого и выработанного в пользу, положим, и общечеловеческого идеала, только добытого в других странах, то неизбежно надобно обращать внимание на народность, если мы хотим какого-нибудь развития народу... Народные инстинкты слишком чутки ко всякому посягательству со стороны, потому что иногда рекомендуемое общечеловеческим как-то выходит никуда не годным в известной стране и только может замедлять развитие народа, к которому прилагается... Мы думаем, что всякому растению угрожает вырождение в стране, где недостает многих условий к его жизни. Даже казалось нам иногда, что это желание нивелировать всякий народ по одному раз навсегда определенному идеалу в основе слишком деспотично. Оно отказывает народам во всяком праве саморазвития, умственной автономии. А по поводу тысячелетия России в нынешнем году нам пришли в голову вот какого рода соображения. За тысячу лет хотя кое-какой, но все-таки исторической жизни мы нажили некоторый опыт... Запад приходил уже спасать нас в лице Петра и целые полтора столетия различными манерами принимался он благоустроить нашу жизнь. Но что вышло из всех подобных предприятий? Если и сделали что-нибудь они для нас хорошего, так это именно то, что доказали нам, что есть почва у нас, что на нее в некоторых случаях должно обращать очень и очень большое внимание. Петровские реформы создали у нас своего рода государство в государстве. Они создали так называемое образованное общество, переставшее не кvas пить, как уверяет «Современник», а вместе с кvasом и мыслить о Руси, общество, часто изменявшее народным интересам, совершенно разобщенное с народной массой, мало того, ставшее во враждебное к ней отношение. И нужно было много трудов и времени, чтоб наконец в лучшей части этого оторванного от почвы общества пробудилась мысль о народе, о народном развитии, пробудилось сознание необходимости усвоения себе народных интересов и сближения с народом.

По тому самому, что теоретики отвергают существование всякой народности, они не понимают и того, что значит «сблизиться с народом». Они не могут понять того, что земство – самый нужный элемент в нашей русской жизни, не понимают, в чем должно состоять наше с ним сближение. «Мы ли к народу должны подойти, – говорит «Современник», – или он к нам?» – «Народ должен подойти к нам, или, лучше, мы должны подвести его к себе, потому что ведь в нас, собственно, витают общечеловеческие идеалы, мы представители на Руси прогресса и цивилизации. А народ глуп, ничего до сих пор не выработал; среда народная бессмысленна, тупа». Но нам приходит иногда в голову, что народ не подойдет к нам прежде, нежели мы убавим у себя олимпийского величия, прежде чем сами подадим ему не на словах, а на деле руку. Ведь народ-то не сознает в нас нужды: он будет крепок и без нас... Он не исчахнет, как чахнет мы, не чувствуя под своими ногами точки опоры, не имея за своими плечами массы народа. Он тверд сам собою... Не крепки силами, безжизненны ведь, собственно, мы сами, имеющие честь называться образованным обществом. Нас убеждают согласиться в том, что народ – наше земство – глуп, потому что г-да Успенский и Писемский представляют мужика глупым... Вот, говорят, они не подступают к народу с какими-либо предзанятыми мыслями и глупого мужика – называют глупым. Но такие рассказы – вроде рассказа г-на Успенского «Обоз» – по нашему убеждению, составляют клевету на народ. И это ли не предзанятость

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
взглядов? Ведь в них есть кое-какая задняя мысль, которая в иное время бывает
слишком некстати. Тут не утешает нас даже и то соображение, представленное
«Современником», что массы везде глупы, слишком стадообразны и во Франции, в
Англии и Германии, что рутина глубоко засела в их голову и что во всем они
поступают большею частью машинально. Так зачем же и хлопотать о массах, если они
глупы, действуют машинально и т. п. Жаль только, что в этом случае теоретики не
доводят своих заключений до конца...

И знаете ли, читатель, нам все кажется, что во взгляде этой фаланги теоретиков
страшный аристократизм. Они как будто делают себя аристократией просвещения и
центром, которого должно держаться наше земство... И это учение теоретиков не
симптом ли – только симптом под другой формой – борьбы, так часто возникавшей в
древней Руси, – боярства с земством? такой факт нельзя ли назвать некоторым
посягательством на народ наших чиновных сословий?.. Впрочем, бог их знает...

Но есть и еще другая фаланга теоретиков, которая, ради последовательности, тоже
отвергает очень и очень многое: разумеет московских славянофилов, издающих
теперь газету «День». В свое время славянофильство много сделало пользы для
изучения быта нашего народа... Оно показало много сторон в русской жизни, указало
значение земства в нашей истории и непосредственное его выражение – общинный
быт. Оно оказывает услуги нашей литературе даже и теперь. «День» издается только
с 15 ноября прошлого года; но и в это короткое время он успел привлечь к себе
внимание нашего читающего общества. И мы должны сказать, что недаром на «День»
публика обратила внимание. В нем есть сила, которая невольно привлекает читателя
на его сторону. Вы не можете не сочувствовать этому усиленному исканию «Днем»
правды, этому глубокому, хотя иногда и несправедливому негодованию на ложь,
фальшь. В едкости его отзыва о настоящем положении дел слышится какое-то
порывание к свежему воздуху, слышно желание уничтожить те преграды, которые
мешают русской жизни развиваться свободно и самостоятельно. В голосе «Дня» есть
много честности. Он хочет действовать в интересах нашего земства, ратует за его
интересы, поэтому он с особенной силой отрицает современный строй общества... И
его отрицание обращено большею частью на дело. Он не тратит даром силы, не
стреляет в воздух, как это часто случается с дешевыми отрицателями, тоже своего
рода поклонниками «искусства для искусства». «День» затрагивает самые
существенные стороны нашей русской жизни. Его отрицание идет вглубь, поднимает,
так сказать, самое нутро вопроса, а не расплывается в воздухе, не сражается с
воображаемым злом, не донкихотствует. Поставляя выше всего, хотя и понимая
по-своему интересы земства, он сказал такое живое и дельное слово о крестьянском
деле и тесно связанном с ним вопросе дворянском, о цензе, широко им понятном... Он
поднял в интересах русской народности и польский вопрос, чрезвычайно важный при
настоящих обстоятельствах... А ведь подобные вопросы для нас в настоящее время –
вопросы плоти и крови. От того или другого их решения зависит вся наша
будущность, весь ход русского прогресса и цивилизации. Разбирать, в частности,
поднимаемые «Днем» вопросы мы не будем, потому что они – чрезвычайно важные
вопросы и стоят обстоятельнейшего обсуждения, чего мы не можем сделать в тесных
границах одной критической статьи. О них нужно поговорить о каждом особо и
немедленно, от чего мы отнюдь не уклоняемся. Прибавим еще, что голос «Дня» мы
считаем очень важным и нужным в нашей литературе, особенно ввиду постоянно
возникающих новых вопросов жизни. Если в решении иных мы и разоидемся с ним, то
ведь чем больше будет по ним полемики, тем лучше. Но в интересе той же правды,
которую хочет «День» найти на Руси, мы должны сказать, что беспощадное отрицание
в иных случаях слишком беспощадно и потому несправедливо. Ратуя за русское
земство, он несправедлив к нашему так называемому образованному обществу.
Признавая жизнь только в народе, он готов отвергнуть всякую жизнь в литературе,
обществе – мы тут разумеет лучшую часть его. В этом случае он большой ригорист.
«Все ложь, все фальшь, – говорит он в одной передовой статье своей, – все
внутреннее развитие, вся жизнь общества, как проказой, заражены ею (то есть
ложью). Ложь в просвещении... Ложь в вдохновениях искусства... Ложь в литературе...»
Мы понимаем, что этот голос может быть искренен; но очевидно также, что это
голос фанатизма... «День» не хочет спуститься с своей допетровской высоты,
презрительным взглядом окидывает настоящую русскую жизнь, лорнирует ее сквозь
свое московское стеклышко и ничего-то не находит в ней такого, к чему он мог бы
отнестись сочувственно...

Назад тому два месяца мы спрашивали у «Дня»: Неужели мы в полтора года хотя бы
quasi-европейской жизни не вынесли ничего доброго и только внутренне
развратились, изжились, потеряли всякие задатки жизни?

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
Неужели Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Островский, Гоголь – все, чем гордится наша литература, все имена, которые дали нам право на фактическое участие в общеевропейской жизни, все, что свежило русскую жизнь и светило в ней, – все это равняется нулю?

Неужели все это порывистое стремление литературы последних годов к прогрессу, к цивилизации, страстное желание сколько возможно улучшить русскую жизнь, это внимание к общественным вопросам в той мере, в какой позволяют внешние обстоятельства, неужели самое это глубокое недовольство современной жизнью – все это ложь, фальшь?

Неужели общечеловечные элементы, проводником которых с Запада в русскую жизнь всегда по возможности была литература, – мы должны признать источником лжи и фальши, разъединяющей наше общество?..

Все ложь, все фальшь, повторяет нам «День». Вот в этом-то голосе мы узнаем московских славянофилов-теоретиков. И у них, как у западников, то же непонимание жизни, то же посягательство на нее, та же беспощадная последовательность. И тем более досадно на это поголовное обвинение в фальши всего общества, что ведь в нем скрывается глубочайшее противоречие «Дня» самому себе. Для чего, спрашивается, он издается? Конечно, для того, чтобы принести хотя какую-нибудь пользу обществу, чтоб указать ему путь к жизни, уничтожить конечно разъедающую его фальшь? Ведь не издавался бы «День», если б фальшь до того разъела наше общество, что в нем не осталось бы никаких задатков жизни? О мертвых заботиться много нечего; с безжизненным трупом хлопотать нужно не о том, чтоб его возвратит к жизни, а поскорей убрать его из человеческого жилья, чтоб не заразились от него и живые, здоровые... Зачем же хлопочет «День» о присуждении нашего общества к жизни, о возвращении к среде народной, если, по его мнению, все в нем ложь и фальшь?

В том-то и беда теоретиков, что они или вовсе не хотят понимать, или плохо понимают жизнь... Нам припомнилась одна тирада из передовой статьи «Дня» против некоторых увлечений. Присвоивши себе право заявлять живой, сильный протест против лжи, фальши общества, он отрицает у молодости это же самое право. Преследуя то, что составляет мертвечину, хлопоча о жизни, он презирает молодую жизнь... Твердя о непочатых силах народных, о свежести и крепости его – славянофилы запрещают всякую деятельность молодым, крепким, в первый раз столкнувшимся с действительностию силам... Взывают к голосу народному, от народа, еще неискусившегося во зле, ожидают плодов, а молодому поколению, на которое возлагаются лучшие надежды общества, отказывают во всяком голосе... Если б «День» судил о вещах не по своему московскому идеальчику, не поверял бы жизнь теории, а теорию – жизнью, он не напечатал бы статьи, которую мы всегда будем считать неизгладимым пятном на редакции.

Самая отрицательная часть «Дня» теряет в наших глазах часть своей силы от одного следующего обстоятельства... Мы объясним свою мысль следующим примером.

Представьте, что человек подошел к безобразной куче сору, где наряду с песком, лохмотьями зарыто много и драгоценностей... Он начинает перебирать кучу; он с силой отбрасывает лохмотья, песок, разную дрянь... Стоя в стороне, вы не можете не согласиться, что называемое им дрянью действительно дрянь; вы готовы даже удивляться меткости его приговоров... Но беда-то в том, что этот раз метатель сору ищет не драгоценностей там, чтоб воспользоваться ими для себя, а старый, поношенный башмак... Вы удивляетесь, почему же это он ищет не того, чего по всем вашим предположениям ему нужно бы было искать... И вот вы видите, как та же беспощадная рука, которая отметала грязь, с тою же силою и едкою насмешкой отбрасывает и то, что вы считаете золотом...

Таким образом, пред вами разбрасывается песок, лохмотья, не во имя тех дорогих вещей, которые зарыты вместе с ними, а во имя старого, поношенного башмака... Тут уже невольно приходит в голову: правда ли, что поношенный башмак, из-за которого отвергается и дурное и хорошее, лучше самых лохмотьев в этой куче?... И вы не можете не пожалеть, что ослепление человека не дает ему возможности видеть в куче дряни и хлама действительно хорошее... Это сравнение, кажется, может несколько быть применимо к «Дню». Отрицательная его сторона, как мы уже сказали, бесспорно хороша... Но во имя чего он отрицает в нашей теперешней русской куче сору и хорошее и дурное?... Мы сказали, что он ратует за интересы земства... Но значение его, условия жизненности этого начала он понимает по-своему. Он берет

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
не земство – то здоровое, свободное земство, которое жило широкой жизнью в первые шесть веков нашего исторического быта, а берет за норму отношений земства к другим началам быт московский XVI и XVII века, когда централизация уже страшно посягнула на права и свободу земства. Одним словом, «День» отрицает теперешнюю жизнь во имя московской теории...

Но ведь она тоже кабинетное создание, плод мечты и пылко воображения... Одним словом, она походит на старый, поношенный, хотя и не совсем еще стоптанный, башмак. В некоторых частях своих она годна еще к кое-какому употреблению, но ее нужно обновить чем-нибудь новым. Допетровская Русь привлекает к себе наше внимание, она дорога нам – но почему? Потому, что там видна целостность жизни, там, по-видимому, один господствует дух; тогда человек, не так, как теперь, чувствовал силу внутренних противоречий самому себе или, лучше сказать, вовсе не чувствовал; в той Руси, по-видимому, мир и тишина... Но в том-то и беда, что допетровская Русь и московский период только видимостью своею могут привлекать наше к себе внимание и сочувствие. А если повнимательней взглянуть в эту, по-видимому, чудную картину, в отдалении рисующуюся нашему воображению, мы найдем, что не все то золото в ней, что блестит... Она потому и хороша, что вдалеке от нас, что ее показывают при искусственном освещении. Посмотря на нее вблизи, найдешь, что тут и краски слишком грубы, и фигуры аляповаты, и в целом что-то принужденное, натянутое, ложное... Действительно, лжи и фальши в допетровской Руси – особенно в московский период – было довольно... Ложь в общественных отношениях, в которых преобладало притворство, наружное смирение, рабство и т. п. Ложь в религиозности, под которой если и не таилось грубое безверие, то по крайней мере скрывались или апатия или ханжество. Ложь в семейных отношениях, унижавшая женщину до животного, считавшая ее за вещь, а не за личность... В допетровской, московской Руси было чрезвычайно много азиатского, восточной лени, притворства, лжи. Этот квиетизм, унылое однообразие допетровской Руси указывают на какое-то внутреннее бессилие. Если московская жизнь хороша была, то, скажите пожалуйста, что же заставило народ отвернуться от московского порядка вещей и повернуть в другую сторону? Одним словом, что произвело наш русский раскол? Ведь выходит, что нельзя сливать Москву с народом, нельзя московскую, допетровскую жизнь признавать за истинное, лучшее выражение жизни народной. «День» говорит, что в допетровской Руси были пороки только, а не ложь... Выражение слишком неопределенное... пороки в семейных и общественных отношениях... Да что же, спрашивается, после этого ложь? Не ложь ли производит и пороки, на малость которых нельзя пожаловаться в допетровской Руси?

И по этому-то московскому идеалу славянофилы хотят перестроить Русь... Для них все наше развитие, положим небольшое, но все-таки развитие, какое у нас было со времен Петра, – все это равняется нулю... Они ужасно бранят Петра за то, что, по выражению Аксакова, он заварил кашу слишком крутеньку, а сами немного уступают ему в своей крутости. В них видна та же допетровская бесцеремонность с жизнью... Для славянофильства теория – такая же беспощадная, такая же скорая на все, как и всякая другая... Нет, уж со времен Петра много воды утекло, и далеко зашла эта вода, и так ее много, что решительно нет никакой физической возможности поворотить ее назад, или вовсе ее уничтожить... Положим, вы бы, например, вздумали дать сток стоячей воде и для этой цели начали бы копать канал... Давно уж вы начали эту работу, прокопали большое пространство... Но работа ваша идет очень плохо, медленно; ваш канал слишком неглубок, и впереди не предвидится вам возможности углубить его, потому что в распоряжении вашем слишком мало рабочих рук, да и рабочая ваша масса не подновляется свежими силами... Вот вы разузнаете причину своей неудачи... Оказывается, к вашему изумлению, что направление вы своему каналу дали не такое, какое нужно дать, что главная масса рабочих, которая главным образом составляет вашу силу, на которую хотели опираться вы, которая могла бы вести ваш канал вперед, и широко, и глубоко, и прочно, – эта главная масса рабочих, вся, так сказать, суть вашей силы, отстала от вас, закопала свой канал и пошла пробивать себе дорогу по другому направлению. Ну что вы тут станете делать...

Оставить всю сделанную вами работу? Но как-то чувствуется вами, что и ваша работа, как бы ни была, положим, мала она и недостаточна, все же работа... вы сознаете, что и вы кое-что сделали и что добытое вами могло бы пригодиться и той главной массе рабочих, которая отстала от вас. Таким образом, воротиться нельзя, потому что зашли-то очень далеко... И нельзя идти далее, потому что это значило бы только еще более расколоться с главной силой, еще сильнее чувствовать свое бессилие и глубже сознавать необходимость общего соединения... Что тут делать? Не лучше ли вам, не бросая своей работы, открыть сообщения с главной массой и

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
поэтому узнать направление вашего канала; сама главная масса против желая
придвинется к вам, когда увидит искренность вашего намерения соединиться; если
она прежде и смотрела на вас слишком недоверчиво, то это потому, что она не
видела от вас никакой помощи себе... Ведь тогда только и пойдет у вас отлично
дело, когда вы соединитесь вместе, когда соедините в одно общий, добытой уже
опыт и начнете дружно пробивать себе вперед дорогу... Вот этого-то и не хотят
понять славянофилы; им того только и хочется, чтобы все добытое нами в
продолжение полутора лет уничтожить и воротить наше общество назад... Возможно
ли это дело? Не теория ли это, мало берущая во внимание жизнь?

Так вот два лагеря теоретиков, из которых один отвергает в принципе народность
и, следовательно, наше чисто народное начало – земство. Другой понимает значение
нашего земства по-своему и, во имя своей теории, не отдает справедливости нашему
образованному обществу... Те и другие, как видно, судят о жизни по теории и
признают в ней и понимают только то, что не противоречит их исходной точке. А
между тем часть истины есть в том и другом взгляде... и без этих частей невозможно
обойтись при решении вопроса, что нужно нам, куда идти и что делать?

Несомненно то, что реформа Петра оторвала одну часть народа от другой, главной...
Реформа шла сверху вниз, а не снизу вверх. Дойти до нижних слоев народа реформа
не успела. Оно, конечно, при тех реформаторских приемах, какие употреблял Петр,
преобразование и не могло охватить весь народ: народ переделать очень трудно.
Для этого мало железной воли одного человека. Развитие народа совершается
веками, уничтожение добытого им может быть задачей тоже одних только веков... Вот
в том-то и была ошибка Петра, что он захотел сразу – за свою одну жизнь –
переменить нравы, обычаи, воззрения русского народа. Деспотизм реформаторских
приемов возбуждал только реакции в массе; она тем крепче усиливалась сохранить
себя от немцев, чем сильнее последние посягали на ее народность. С другой
стороны, мы чрезвычайно ошиблись бы, если б подумали, что реформа Петра принесла
в нашу русскую среду главным образом общечеловеческие западные элементы. На
первый раз у нас водворилась только страшнейшая распущенность нравов, немецкая
бюрократия – чиновничество. Не чуя выгоды от преобразования, не видя никакого
фактического себе облегчения при новых порядках, народ чувствовал только
страшный гнет, с болью на сердце переносил поругание того, что он привык считать
с незапамятных времен своей святыней. Оттого в целом народ и остался таким же,
каким был до реформы; если она какое имела на него влияние, то далеко не к
выгоде его. Говоря таким образом, мы вовсе не думаем отрицать всякое
общечеловеческое значение реформы Петра... Она, по прекрасному выражению Пушкина,
прорубила нам окно в Европу, она указала нам на Запад, где можно было кой-чему
поучиться. Но в том-то и дело, что она осталась не более как окном, из которого
избранная публика смотрела на Запад и видела главным образом не то, что нужно бы
было видеть, училась вовсе не тому, чему должна была там учиться... Оттого
петровская реформа принесла характер измены нашей народности, нашему народному
духу. Бывают такие времена в жизни народа, что в нем особенно чувствуется
потребность выйти на свежий воздух, какое-то особенное недовольство настоящим,
потребность чего-то нового. Несомненно, что в ближайшее время к Петру уже
чувствовал народ худобу жизни, заявлял свой протест против действительности и
пытался выйти на свежий воздух... Так мы по крайней мере понимаем исторический
факт – наш раскол. Такое историческое явление, каков Петр, выросло на русской
почве, конечно, не чудом каким. Оно подновлено, несомненно, временем... В русском
воздухе носились уже задатки реформационной бури, и в Петре только
сосредоточилось это пламеннейшее общее желание – дать новое направление нашей
исторической жизни...

Но характер всяких переходных эпох таков, что во время их чувствуется сильнейшее
желание выйти из пошлого порядка вещей, но как выйти, куда идти, – плохо
сознается и понимается... В том-то и была беда Петра, что желание Руси обновиться
он понял по-своему, исполнял его тоже по-своему – деспотически прививал в жизнь
не то, в чем она нуждалась. Поэтому Петра можно назвать народным явлением
настолько, насколько он выражал в себе стремление народа обновиться, дать более
простору жизни – но только до сих пор он был народен... Выражаясь точнее, одна
идея Петра была народна. Но Петр как факт был в высшей степени антинароден...
Во-первых, он изменил народному духу в деспотизме своих реформаторских приемов,
сделав дело преобразования не делом всего народа, а делом своего только
произвола. Деспотизм вовсе не в духе русского народа... Он слишком миролюбив и
любит добиваться своих целей путем мира, постепенно. А у Петра пылали костры и
воздвигались эшафоты для людей, не сочувствовавших его преобразованиям... То
самое, что реформа главным образом обращена была на внешность, было уже изменою

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r народному духу... Русский народ не любит гоняться за внешностью: он больше всего ценит дух, мысль, суть дела. А преобразование было таково, что простиралось на его одежду, бороду и т. д. Народ и отрекся от своих доброжелателей-реформаторов, не потому, конечно, чтобы любил бороду, гонялся за одеждой, а потому, что такой преобразовательный прием был далеко не в его духе. И чем сильнее было на него посягательство сверху, тем сильнее он сплывался, сжимался. Борода и одежда сделалось чем-то вроде лозунга. Может быть, именно под влиянием подобных обстоятельств и сложилась в нашем мужике такая неподатливая, упорная, твердая натура.

Как бы то ни было, только факт стал очевиден, что народ отрекся от своих реформаторов и пошел своей дорогой – врозь с путями высшего общества... Земство разошлось с служилыми сословиями. Последовавшие за петровской эпохой исторические обстоятельства только усиливали это раздвоение общества от массы народной. О народе – о главном – часто забывали, думали больше о самих себе. Бюрократия развивалась в ущерб народным интересам, давление сверху становилось тяжелей и тяжелей, возбуждая больший упор в народе. Крепостное право усиливалось, об образовании народа думали только немногие горячие головы. Сословный быт развивался в ущерб низшим классам. Высшие классы скоро утеряли самый язык, на котором говорила масса. Чужестранный элемент развивался в небывалых размерах, и по обстоятельствам, по общественному своему положению, владея материальной силой, старался забрать в свои руки чуждый ему народ. Интересы разошлись до того, что всякое искреннее сочувствие народным интересам, выходящее не из народной среды, принималось массой с недоверчивостью, даже с неудовольствием, потому что она не могла понять, каким это образом господа могут хлопотать о мужике: горькая действительность несколько раз убеждала его, сколько лжи и обмана, сколько узкого эгоизма и своекорыстия скрывается иногда под видимым участием.

В точно таких же почти отношениях находятся и теперь эти две силы, разошедшиеся друг с другом очень давно. И теперь сколько разбивается самых лучших намерений в интересах народа, именно потому, что народ не верит в их искренность. Обвинять тут народ в невежестве, непонимании хорошего, ставить подобные вещи ему собственно в укор чрезвычайно недобросовестно. Согласитесь, что иногда наши ласки к народу только нам кажутся ласками, а зачастую, в сущности-то, они бывают медвежьими. Мы ведь, нужно говорить правду, не умеем подойти к народу. Уж в этом отношении никогда нет середины. У нас или грубость такая, что просто из рук вон, или такая маниловщина, что беда да и только. Ну поймет ли нас народ, когда мы явимся к нему в лайковых перчатках и будем с простым мужиком обращаться на «вы»? Сами, конечно, виноваты. Зато редко, редко бывает, что народ верит нам и пользуется нашими советами. Из усердия к народным интересам мы являемся его советниками, например, по земледельческому его делу. Говорим ему устно и печатно, сочиняем нарочно для этой цели книжки. Но читает ли их народ, даже те, которые ему попадают случайно в руки? Слушает ли он наши наставления? Да! читает и слушает из простого любопытства, как о новых, прежде им неслыханных вещах, с такой же охотой читает, как и Еруслана Лазаревича. Но он и не думает применять наши наставления к делу, потому, дескать, это не наше дело, а барское, писаны книжки не для нас, а для господ. И не то чтоб он тут не понимал нас, а просто потому, что не верит нашим книжкам, нашему усердию в пользу его.

С трудом прививаются народной массе и нравственные и религиозные понятия людьми, которые не из ее среды... А посмотрите, с каким напряженным любопытством, с какой жадностью, лихорадочным вниманием безмолвная толпа слушает грамотного мужика. Факт, например, и то, что сколько ведь напускной лжи и двоедушия принимает на себя мужик пред нашими судами; как иногда усиленно ловит он случай стянуть из барского кармана лишнюю копейку. Между тем нередко этот лжец, двоедушный обманщик сам-то в себе честный человек, честный пред своей общиной, пред своим миром, и не подумает обмануть своего брата мужика или схитрить пред миром... Потому, видите ли, делаются тут дела так, что суд мира есть суд в высшей степени народный, обмануть своего считается бесчестьем... А к нашему брату он не чует никакой привязанности; нет у нас с ним общих, связывающих уз, нет общих интересов. Вот и кажемся мы народу в некотором роде татарами, нехристями, с которыми не грех обойтись помудреней, чем с своим братом. В нашем присутствии мужик уже вовсе не тот, каков он со своими: он стесняется, он официален, хочет казаться... До такой степени наше общество разъединилось с народом!

Вот почему нельзя говорить, что, дескать, зачем отделять высшее общество или, точнее выражаясь, образованное общество от массы народа. По идее-то оно выходит

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
как будто и так, да и в сущности-то оно так. Только беда наша в том, что на практике народ отвергает нас. Это-то и обидно; этого-то причины и должны мы доискаться. Родились мы на Руси, вскормлены и вспоены произведениями нашей родной земли, отцы и прадеды наши были русского происхождения. Но, на беду, всего этого слишком мало для того, чтобы получить от народа притяжательное местоимение «наш», и, конечно, самым лучшим благочестивым желанием передовых русских людей всегда будет: настолько соединиться с народом, чтоб он не отделял образованных людей от себя и считал образованное общество своим... Но это будет задачей долгого времени, и блаженное время окончательного соединения оторванного теперь от почвы общества – еще впереди. До того же времени называть себя de facto народом, частью той массы, которая составляет наше крестьянство, земством – будет самообольщением. Ведь нельзя, например, не задуматься над тем, почему это мы не можем теперь найти язык, на котором могли бы искренно, сердечно беседовать с народом; почему это так сильно чуждается нас народ; так трудно нам, если только не невозможно, войти в дух, понятия и интересы народа; почему это инстинкт народный так упорно не хочет узнать в нас своих друзей? Конечно, такое явление происходит от того, что мы разобщены с народом, что история вырыла между им и нами пропасть...

И снова повторяем, что невозможно обвинять народ в том, что он плохо понимает нас, что он не развит, что он чуждается нас... Опять скажем, что в неразвитости народа виноваты и мы сами. Отчего же мы целых полтора десятка лет забывали о нем, не хлопотали об его развитии, предоставили его самому себе на произвол судьбы – и судьбы тягостной. Можем ли мы после этого требовать от него нравственной развитости? Во-первых, сколько есть и между нами людей, которые по своим нравственным понятиям не только не стоят выше мужика, но даже гораздо его ниже. Где, как не в этом образованном обществе, скрывается такая подлейшая ложь, такой грубый обман, такая нравственная подлость, что ей и названья не найдешь? Образованная ложь всегда выражается в жизни циничнее; тем отвратительней становится она нравственному чувству человека, чем, по-видимому, толще покрыта лаком внешней образованности и прогрессивных понятий. Если бы вы взяли простого балалайщика с рынка и он не стал бы понимать, в чем заключается вся суть очаровательной гармонии Моцарта или

Бетховена, стали бы вы на него претендовать? Чтоб понимать высшую гармонию звуков, для этого нужно иметь очень развитое ухо; на каком же основании станете вы требовать от полуразвитого уха совершенного понимания высшей гармонии? Ведь это значило бы требовать от яблони апельсина. И то еще нужно заметить тут, что не всегда верны те наблюдения над простым народом, какие делаются, например, г-ми Успенским и Писемским. Наблюдение над нашим простым мужиком делается, как известно, чрезвычайно поверхностно; глубь-то его душевная упускается, о ней часто и не знают те, которые, по-видимому, вблизи изучают народ, и это опять потому, что мужик не любит весь раскрываться пред господами. Оттого недоверие к бесчестности, глупости мужика, не только не бесполезно, а даже обязательно. Жаль только, что наши скептики, прилагающие свое отрицание ко всему, не употребляют его в дело на указанном нами пункте.

И от этого раздвоения народа страшно страдают обе его части. Отсутствие общих пунктов у высшего общества с низшим; противоположность интересов, созданная историческими обстоятельствами, заставляет его относиться враждебно к народу. Народу некогда идти вперед, потому что при настоящих отношениях к высшему обществу у него хватает времени только на отстаивание того, что у него есть. Предоставленный самому себе, он коснеет в невежестве, совершенно лишен всякого участия в тех общечеловеческих результатах европейской цивилизации, которыми, впрочем, только в некоторой мере владеет образованное общество. Он и прозвал себя горемыкой, потому что сам-то по себе находит весьма трудным выйти из того незавидного положения, в какое поставили его исторические обстоятельства. Редко, редко находит он себе вождей, которые указывают ему новые пути, собирают в одно его разрозненные, рассеянные силы и мощно двигают их к одной цели. И сколько тут пропадает силы! Эта тучная, могущая быть плодовитейшею земля должна лежать если не совсем впусте, то приносить вовсе не те плоды, какие могла бы приносить.

От разрыва с народом страдают и высшие классы. Их силы сравнительно с силами народа – чрезвычайно малы, если не ничтожны.

Разрозненные с народом высшие классы не подновляются новыми силами – оттого чахнут, ничего не вырабатывают. Не имея твердой точки опоры, они не имеют впереди ясно поставленной и точно обозначенной цели. Оттого их существование

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
принимает какой-то бесцельный характер. Не сливая своего дела с земским делом, они по необходимости должны были поставить впереди себя только узкие цели. Оттого все лучшие порывы вперед нашего общества неизбежно отпечатлеваются каким-то характером безжизненности, чахлости... Говорят, что у нас в России не привилась наука... именно потому и не привилась, что страна располагает в пользу ее слишком малыми свежими силами. А между тем сколько сил хранится в этих сорока миллионах людей, которые чужды вовсе науки, даже не слыхали о ней. Сколько бы могло быть даровитейших тружеников науки, если бы вся эта масса была призвана к жизни, если бы открыты были двери для талантов, таящихся в ней... Без соединения с народом никогда, пожалуй, не удадутся высшим классам и попытки улучшить общественный быт страны. Самая сфера мысли образованного нашего общества приняла характер какой-то условности, потому что в нее не вносятся новых, свежих мыслей из массы народной, потому что не являются на умственную арену новые, свежие бойцы. И только тогда у нас явится и прочно установится наука, когда она будет достоянием не одного или нескольких привилегированных сословий, а всей массы народа... Тогда только выработается именно тот общественный быт наш, такой именно, какой нужен нам, когда высшие классы будут опираться не на одних только самих себя, а и на народ; тогда только может прекратиться эта поразительная чахлость и безжизненность нашей общественной жизни.

И вот когда у нас будет не на словах только, а на деле один народ, когда мы скажем о себе заодно с народной массой – мы, тогда прогресс наш не будет идти таким медленным прерывистым шагом, каким он идет теперь. Ведь тогда только и можем мы хлопотать об общечеловеческом, когда разовьем в себе национальное... Прежде чем понять общечеловеческие интересы, надобно усвоить себе хорошо национальные, потому что после тщательного только изучения национальных интересов будешь в состоянии отличать и понимать чисто общечеловеческий интерес. Прежде чем хлопотать об ограждении интересов всего человечества во всем мире, – нужно стараться оградить их у себя дома. А то может случиться, что за все возьмемся и нигде не успеем. Говоря, впрочем, о национальности, мы не разумеем под нею ту национальную исключительность, которая весьма часто противоречит интересам всего человечества. Нет, мы разумеем тут истинную национальность, которая всегда действует в интересе всех народов. Судьба распределила между ними задачи: развить ту или другую сторону общего человека... только тогда человечество и совершит полный цикл своего развития, когда каждый народ, применительно к условиям своего материального состояния, исполнит свою задачу. Резких различий в народных задачах нет, потому что в основе каждой народности лежит один общий человеческий идеал, только оттененный местными красками. Потому между народами никогда не может быть антагонизма, если бы каждый из них понимал истинные свои интересы. В том-то и беда, что такое понимание чрезвычайно редко, и народы ищут своей славы только в пустом первенстве пред своими соседями. Разные народы, разрабатывающие общечеловеческие задачи, можно сравнить с специалистами науки; каждый из них специально занимается своим предметом, к которому, предпочтительно пред другими, чувствует особенную охоту. Но ведь все они имеют в виду одну общую науку. И отчего наука всего более идет в широту и глубину, как не от специализации ее предметов и частной разработки их отдельными личностями?

Таким образом, собственные наши интересы и интересы человечества требуют, чтоб мы возвратились самым делом на почву народности, соединились с нашим земством. Но теоретики опять задают вопрос, в чем же должно состоять это сближение с народом? Чтобы не распространяться об этом предмете много, мы скажем коротко, что для сближения с народом образованных классов нужно:

1) Распространить в народе грамотность. Народ наш беден и голодает вовсе не оттого, чтоб у него мало было средств к добыванию насущного хлеба. Земли у нас много, заработка не трудна, по недостатку рабочих рук. Народ оттого беден и голоден, что невысок у него, по особым обстоятельствам, нравственный уровень, что он не умеет извлекать для себя пользу из тех огромных естественных богатств, какие у него под рукой. Значит, прежде всего нужно позаботиться об его умственном развитии.

2) Облегчить общественное положение нашего мужика уничтожением сословных перегородок, которые заграждают для него доступ во многие места. Средство это стоит в тесной связи с вопросом о сословных правах и привилегиях.

3) Для сближения с народом нужно несколько преобразоваться нравственно и нам самим. Нам нужно отказаться от наших сословных предрассудков и эгоистических взглядов. Народу тяжелы наши кулаки, которые когда-то были так в моде, да он не

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r терпит и оскорбительной для него французской вежливости. Нужно полюбить народ, но любовью вовсе не кабинетною, сентиментальною.

Да! нужно открыть двери и для народа, дать свободный простор его свежим силам. Так мы понимаем сближение с народом. Читатели видят, что оно вовсе не фраза, пустое слово, а имеет большое значение в теперешней нашей общественной жизни.

Но в том-то и дело, скажут нам скептики, что мы и народ не способны ни к какому лучшему будущему. За целую тысячу лет своей исторической жизни ничего не сделали ни мы сами, ни народ. Применяя к Руси известную мысль Монтескье – всякий народ достоин своей участи, что можем сказать хорошего о нас и этом народе, который и т. д.? Об этом вопросе мы скажем следующее:

Во-первых, на что указывает нам русский раскол?.. Замечательно, что ни славянофилы, ни западники не могут как должно оценить такого крупного явления в нашей исторической жизни. Это, конечно, происходит оттого, что они теоретики. По их теории действительно не выходит, чтоб в расколе было что-нибудь хорошее. Славянофилы, лелея в душе один только московский идеал Руси православной, не могут с сочувствием отнестись к народу, изменившему православию... Западники, судя об исторических явлениях русской жизни по немецким и французским книжкам, видят в расколе только одно русское самодурство, факт невежества русского, гнавшегося за сугубым аллилуйя, двуперстным знаменем и т. д. Они не поняли в этом странном отрицании страстного стремления к истине, глубокого недовольства действительностию. Оно и неудивительно, потому что, судя о вещах по теории, легко закрыть глаза на многое, легко напустить на себя своего рода ослепление. И этот факт русской дури и невежества, по нашему мнению, самое крупное явление в русской жизни и самый лучший залог надежды на лучшее будущее в русской жизни.

Во-вторых, скептики забывают, что народ удержал до сих пор, при всех неблагоприятных обстоятельствах, общинный быт, что, не зная начал западной ассоциации, он имел уже артель. Западные публицисты после долгих поисков наконец остановились на ассоциации и в ней видят спасение труда от деспотизма капитала. Но в западной жизни это общинное начало еще не вошло в жизнь; ему ход будет только в будущем... На Руси оно существует уже как данное жизнью и ждет только благоприятных условий к своему большему развитию. А главным образом тут должно обратить внимание на то, с каким упорством народ отстаивал целые века свое общественное устройство и все-таки отстоял... Что ж это за явление, как не доказательство того, что народ наш способен к политической жизни?

В-третьих, посмотрите, какой иногда такт в суждении, какая зрелая практичность ума, меткость в слове проявляется в этом народе, который не имеет никакой юридической подготовки, не знает римского права. Законоположение 19 февраля вызвало народ к жизни, поставило его в новые условия, – и он вовсе не оказался неспособным обсуживать свое новое положение... Если вы следили за крестьянским делом, вы не можете не согласиться, что в фактах его проявляется не одно только невежество и глупость...

Да наконец, хотя бы эта способность самоосуждения, которая проявляется на Руси с такой беспощадно-страшной силой, не доказывает ли, что самоосуждающие способны к жизни? Не в русском характере иметь такой узкий национальный эгоизм, какой нередко встретить можно у англичанина, у немца, у француза. Так ли народ наш привержен к своим обычаям, поверьям, своему быту, как, например, англичанин к своим учреждениям... Не потому русский народ слишком крепко держится своего, что оно свое, а потому, что он не слышал ничего лучшего, потому что все другое, рекомендованное ему со стороны, он нашел худшим... Он потому и держится своего, что оно лучшим ему кажется из всего, что он слышал и видал. А вот посмотрите, с какой настойчивостью отстаивает англичанин свои университеты, хотя и сознает, что их устройство далеко расходится с современными понятиями. Ему дорог английский метод воспитания и образования не потому, чтобы он считал его лучшим из всего, что он знает в этом отношении, а потому, что это свое. Или посмотрите на ту сальную иногда сентиментальность, с какою немец рассуждает о своей полиции или своих советниках, и о превосходстве немецкой нации пред другими. Вот француз, который постоянно толкует о славе нации, о своих национальных учреждениях, о военных своих подвигах, потому только, что заговори он иначе, он изменил бы своей славной нации. Но узкая национальность не в духе русском. Народ наш с беспощадной силой выставляет на вид свои недостатки и пред целым светом готов толковать о своих язвах, беспощадно бичевать самого себя; иногда даже он несправедлив к самому себе, – во имя негодующей любви к правде, истине... С какой,

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
например, силой эта способность осуждения, самобичевания проявилась в Гоголе,
Щедрина и всей этой отрицательной литературе, которая гораздо живучее,
жизненней, чем положительнейшая литература времен очаковских и покоренья Крыма.

И неужели это сознание человеком болезни не есть уже залог его выздоровления,
его способности оправиться от болезни.. Не та болезнь опасна, которая на виду у
всех, которой причины все знают, а та, которая кроется глубоко внутри, которая
еще не вышла наружу и которая тем сильней портит организм, чем, по неведению,
долее она остается непримеченною. Так и в обществе.. Сила самоосуждения прежде
всего – сила: она указывает на то, что в обществе есть еще силы. В осуждении зла
неприменно кроется любовь к добру: негодование на общественные язвы, болезни –
предполагает страстную тоску о здоровье.

И неужели отрицание наше кончится только одним разрушением? Неужели на месте
полуразрушенных зданий ничего не воздвигнется и это место останется пустым
пожарищем?.. Неужели мы настолько задохнулись, настолько замерли, что нет
надежды на наше оживление? Но если в нас замерла жизнь, то она несомненно есть в
нетронутой еще народной почве.. это святое наше убеждение.

Мы признаем в народе много недостатков, но никогда не согласимся с одним лагерем
теоретиков, что народ непроходимо глуп, ничего не сделал в тысячу лет своей
жизни, не согласимся, потому что излишний ригоризм нигде не уместен.. Если друзья
будут о нем такого мнения, то что же останется для недоброжелателей?

Ощущение власти

(Из «Дневника писателя». 1873 год)

Кажется, одно общее ощущение всех присяжных заседателей в целом мире, а наших в
особенности (кроме прочих, разумеется, ощущений), должно быть ощущение власти,
или, лучше сказать, самовластия. Ощущение иногда пакостное, то есть в случае,
если преобладает над прочими. Но хоть и в незаметном виде, хоть и подавленное
целою массою иных благороднейших ощущений, – все-таки оно должно крепиться в
каждой заседательской душе, даже при самом высоком сознании своего гражданского
долга. Мне думается, что это как-нибудь выходит из самых законов природы, и
потому, я помню, ужасно мне было любопытно в одном смысле, когда только что
установился у нас новый (правый) суд. Мне в мечтаниях мерещились заседания, где
почти сплошь будут заседать, например, крестьяне, вчерашние крепостные.
Прокурор, адвокаты будут к ним обращаться, заискивая и заглядывая, а наши
мужички будут сидеть и про себя помалчивать:

«Вон оно как теперь, захочу, значит, оправдаю, не захочу – в самое Сибирь».

И вот, однако же, замечательно теперь, что они не карают, а сплошь оправдывают.
Конечно, это тоже пользование властью, даже почти через край, но в какую-то одну
сторону, сантиментальную, что ли, не разберешь, – но общую, чуть не предвзятую у
нас повсеместно, точно все сговорились. Общность «направления» не подвержена
сомнению. В том и задача, что мания оправдания во что бы ни стало не у одних
только крестьян, вчерашних униженных и оскорбленных, а захватила сплошь всех
русских присяжных, даже самого высокого подбора, нобльменов и профессоров
университета. Уже одна эта общность представляет прелюбопытную тему для
размышлений и наводит на многообразные и, пожалуй, странные иногда догадки.

Недавно в одной из наших влиятельнейших газет, в очень скромной и очень
благонамеренной статейке, была мельком проведена догадка: уж не склонны ли наши
присяжные, как люди, вдруг и ни с того ни с сего ощутившие в себе столько
могущества (точно с неба упало), да еще после такой вековой приниженности и
забитости, – не склонны ли они подсолить вообще «властям», при всяком удобном
случае, так, для игривости или, так сказать, для контраста с прошедшим,
прокурору хоть например? Догадка недурная и тоже не лишенная некоторой
игривости, но, разумеется, ею нельзя всего объяснить.

«Просто жаль губить чужую судьбу; человеки тоже. Русский народ жалостлив», –
разрешают иные, как случалось иногда слышать.

Я, однако же, всегда думал, что в Англии, например, народ тоже жалостлив; и если
и нет в нем, так сказать, слабосердости, как в нашем русском народе, то по
крайней мере гуманность есть; есть сознание и живо чувство христианского долга к
ближнему, и, может быть, доведенные до высокой степени, до твердого и
самостоятельного убеждения; даже, может быть, более твердого, чем у нас, взяв во

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
внимание тамошнюю образованность и вековую самостоятельность. Там ведь не «вдруг с неба» им столько власти свалилось. Да и самый суд-то присяжных они сами себе выдумали, ни у кого не занимали, веками утвердили, из жизни вынесли, не в виде дара получили.

Достоевский в 26 лет, рисунок К. Трутовского

А между тем там присяжный заседатель понимает, чуть только займет свое место в зале суда, что он не только чувствительный человек с нежным сердцем, но прежде всего гражданин. Он думает даже (верно ли, нет ли), что исполнение долга гражданского даже, пожалуй, и выше частного сердечного подвига. Еще недавно общий гул пошел у них по всему королевству, когда присяжные оправдали одного явного вора. Общее движение страны доказало, что если и там возможны такие же приговоры, как и у нас, то появляются редко, как случаи исключительные и немедленно возмущающие общее мнение. Там присяжный понимает прежде всего, что в руках его знамя всей Англии, что он уже перестает быть частным лицом, а обязан изображать собою мнение страны. Способность быть гражданином – это и есть способность возносить себя до целого мнения страны. О, и там есть «жалостливость» приговора, и там принимается во внимание «заедающая среда» (кажется, любимое теперь учение наше) – но до известного предела, насколько допускает здоровое мнение страны и степень просвещения ее христианскую нравственность (а степень-то, кажется, довольно высокая). Но зато, и весьма часто, тамошний присяжный, скрепя свое сердце, произносит приговор обвинительный, понимая прежде всего, что обязанность его состоит в том преимущественно, чтобы засвидетельствовать своим приговором перед всеми согражданами, что в старой Англии, за которую всякий из них отдаст свою кровь, порок по-прежнему называется пороком и злодейство – злодейством и что нравственные основы страны все те же, крепки, не изменились, стоят, как и прежде стояли.

– Даже хоть и предположить, – слышится мне голос, – что крепкие-то ваши основы (то есть христианские) все те же и что вправду надо быть прежде всего гражданином, ну и там держать знамя и проч., как вы наговорили, – хоть и предположить пока без спору, подумайте, откуда у нас взяться гражданам-то? Ведь сообразить только, что было вчера! Ведь гражданские-то права (да еще какие!) на него вдруг как с горы скатились. Ведь они придавили его, ведь они пока для него только бремя, бремя!

– Конечно, есть правда в вашем замечании, – отвечаю я голосу, несколько повеся нос, – но ведь опять-таки русский народ...

– Русский народ? Позвольте, – слышится мне другой голос, – вот, говорят, что дары-то с горы скатились и его придавили. Но ведь он не только, может быть, ощущает, что столько власти он получил как дар, но и чувствует, сверх того, что и получил-то их даром, то есть что не стоит он этих даров пока. Заметьте, это вовсе не значит, что и в самом деле он не стоит этих даров и что не надо или рано было одарять его; совсем даже напротив: это сам народ в своей смиренной совести сознает, что он недостоин даров таких, – и это смиренное, но высокое сознание народное о своей недостойности есть именно залог того, что он-то их и достоин. А покамест, в смирении своем, народ смущен. Кто заглядывал в сокровенные тайники его сердца? Может ли у нас хоть кто-нибудь сказать, что вполне знаком с русским народом? Нет, тут не одна только жалостливость и слабосердность, как изволите вы насмехаться. Тут сама эта власть страшна! Испугала нас эта страшная власть над судьбой человеческою, над судьбой родных братьев, и, пока дорастем до вашего гражданства, мы милуем. Из страха милуем. Мы сидим присяжными и, может быть, думаем: «Сами-то мы лучше ли подсудимого? Мы вот богаты, обеспечены, а случись нам быть в таком же положении, как он, так, может, сделаем еще хуже, чем он, – мы и милуем». Так ведь это еще, может быть, хорошо-с, умиление-то это сердечное. Это, может быть, залог к чему-нибудь такому высшему христианскому в будущем, чего еще и не знает мир до сих пор!

«Это отчасти славянофильский голос», – рассуждаю я про себя. Мысль действительно утешительная, а догадка о смирении народном пред властью, полученною даром и дарованною пока «недостойному», уж конечно почище догадки о желании «поддразнить прокурора», хотя все-таки и эта догадка продолжает мне нравиться своим реализмом

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r (конечно, принимая ее более в виде частного случая, как выставлял, впрочем, и сам автор ее), но... но вот что наиболее смущает меня, однако: что это наш народ вдруг стал бояться так своей жалости? «Больно, дескать, очень приговорить человека». Ну и что ж, и уйдите с болью. Правда выше вашей боли.

В самом деле, ведь если уж мы считаем, что сами иной раз еще хуже преступника, то тем самым признаем и в том, что наполовину и виноваты в его преступлении. Если он преступил закон, который земля ему написала, то сами мы виноваты в том, что он стоит теперь перед нами. Ведь если бы мы все были лучше, то и он бы был лучше и не стоял бы теперь перед нами...

– Так вот тут-то и оправдать? Нет, напротив: именно тут-то и надо сказать правду и зло назвать злом; но зато половину тяготы приговора взять на себя. Войдем в залу суда с мыслью, что и мы виноваты. Эта боль сердечная, которой все теперь так боятся и с которою мы выйдем из залы суда, и будет для нас наказанием. Если истинна и сильна эта боль, то она нас очистит и сделает лучшими. Ведь сделавшись сами лучшими, мы и среду исправим и сделаем лучшею. Ведь только этим одним и можно ее исправлять. А так-то бежать от собственной жалости и, чтобы не страдать самому, сплошь оправдывать – ведь это легко. Ведь этак мало-помалу придем к заключению, что и вовсе нет преступлений, а во всем «среда виновата». Дойдем до того, по клубку, что преступление сочтем даже долгом, благородным протестом против «среды». «Так как общество гадко устроено, то в таком обществе нельзя ужиться без протеста и без преступлений». «Так как общество гадко устроено, то нельзя из него выбиться без ножа в руках». Ведь вот что говорит учение о среде в противоположность христианству, которое, вполне признавая давление среды и провозгласивши милосердие к согрешившему, ставит, однако же, нравственным долгом человеку борьбу со средой, ставит предел тому, где среда кончается, а долг начинается.

Делая человека ответственным, христианство тем самым признает и свободу его. Делая же человека зависящим от каждой ошибки в устройстве общественном, учение о среде доводит человека до совершенной безличности, до совершенного освобождения его от всякого нравственного личного долга, от всякой самостоятельности, доводит до мерзейшего рабства, какое только можно вообразить. Ведь этак табаку человеку захочется, а денег нет – так убить другого, чтобы достать табаку. Помилуйте: развитому человеку, ощущающему сильнее неразвитого страдания от неудовлетворения своих потребностей, надо денег для удовлетворения их – так почему ему не убить неразвитого, если нельзя иначе денег достать? Да неужели вы не прислушивались к голосам адвокатов: «Конечно, дескать, нарушен закон, конечно, это преступление, что он убил неразвитого, но, господа присяжные, возьмите во внимание и то...» и т. д. Ведь уже почти раздавались подобные голоса, да и не почти...

– Ну, вы, однако же, – слышится мне чей-то язвительный голос, – вы, кажется, народу новейшую философию среды навязываете, это как же она к нему залетела? Ведь эти двенадцать присяжных иной раз сплошь из мужиков сидят и каждый из них за смертный грех почитает в пост оскоромиться. Вы бы уже прямо обвиняли их в социальных тенденциях.

«Конечно, конечно, где же им до «среды», то есть сплошь-то всем, – задумываюсь я, – но ведь идеи, однако же, носятся в воздухе, в идее есть нечто проникающее...»

– Вот на! – хохочет язвительный голос. – А что, если наш народ особенно склонен к учению о среде, даже по существу своему, по своим, положим, хоть славянским наклонностям? Что, если именно он-то и есть наилучший материал в Европе для иных пропагаторов?

Язвительный голос хохочет еще громче, но как-то выделанно.

Нет, тут с народом пока еще только фортель, а не «философия среды». Тут есть одна ошибка, один обман, и в этом обмане много соблазна.

Обман этот можно разъяснить в таком виде, примером по крайней мере.

Положим, народ называет осужденных «несчастливыми», подает им гроши и калачи. Что же хочет он этим сказать, вот уже, может быть, в продолжение веков? Христианскую ли правду или правду «среды»? Именно тут-то и камень преткновения, именно тут-то и скрывается тот рычаг, за который с успехом мог бы ухватиться пропагатор «среды».

Есть идеи невысказанные, бессознательные и только лишь сильно чувствуемые; таких идей много как бы слитых с душой человека. Есть они и в целом народе, есть и в человечестве, взятом как целое. Пока эти идеи лежат лишь бессознательно в жизни народной и только лишь сильно и верно чувствуются, – до тех пор только и может жить сильнейшею живою жизнью народ. В стремлениях к выяснению себе этих сокрытых идей и состоит вся энергия его жизни. Чем непоколебимее народ содержит их, чем менее способен изменить первоначальному чувству, чем менее склонен подчиняться различным и ложным толкованиям этих идей, тем он могучее, крепче, счастливее. К числу таких сокрытых в русском народе идей – идей русского народа – и принадлежит название преступления несчастием, преступников – несчастными.

Идея эта чисто русская. Ни в одном европейском народе ее не замечалось. На Западе провозглашают ее теперь лишь философы и толковники. Народ же наш провозгласил ее еще задолго до своих философов и толковников. Но из этого не следует, чтобы он не мог быть сбит с толку ложным развитием этой идеи толковником, временно, по крайней мере, с краю. Окончательный смысл и последнее слово останутся, без сомнения, всегда за ним, но временно – может быть иначе.

Короче, этим словом «несчастные» народ как бы говорит «несчастливым»: «Вы согрешили и страдаете, но и мы ведь грешны. Будь мы на вашем месте – может, и хуже бы сделали. Будь мы получше сами, может, и вы не сидели бы по острогам. С возмездием за преступления ваши вы приняли тяготу и за всеобщее беззаконие. Помолитесь об нас, и мы об вас молимся. А пока берите, «несчастные», гроши наши; подаем их, чтобы знали вы, что вас помним и не разорвали с вами братских связей».

Согласитесь, что ничего нет легче, как применить к такому взгляду учение о «среде»: «Общество скверно, потому и мы скверны; но мы богаты, мы обеспечены, нас миновало только случайно то, с чем вы столкнулись. Столкнись мы – сделали бы то же самое, что и вы. Кто виноват? Среда виновата. Итак, есть только подлое устройство среды, а преступлений нет вовсе».

Вот в этом-то софистическом выводе и состоит тот фортель, о котором я говорил.

Нет, народ не отрицает преступления и знает, что преступник виновен. Народ знает только, что и сам он виновен вместе с каждым преступником. Но, обвиняя себя, он тем-то и доказывает, что не верит в «среду»; верит, напротив, что среда зависит вполне от него, от его непрерывного покаяния и самосовершенствования. Энергия, труд и борьба – вот чем перерабатывается среда. Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство собственного достоинства. «Достигнем того, будем лучше, и среда будет лучше». Вот что невысказанно ощущает сильным чувством в своей сокрытой идее о несчастии преступника русский народ.

Представьте же теперь, что если сам преступник, слыша от народа, что он «несчастный», сочтет себя только несчастным, а не преступником. Вот тогда-то и отшатнется от такого лжетолкования народ и назовет его изменою народной правде и вере.

Я бы мог представить и примеры тому, но отложим их пока и скажем так.

Преступник и намеревающийся совершить преступление – это два разные лица, но одной категории. Что же, если приготавливаясь к преступлению сознательно, преступник скажет себе: «Нет преступления!» Что, назовет его народ «несчастливым»?

Может, и назовет; без сомнения, назовет; народ жалостлив; да и ничего нет несчастнее такого преступника, который даже перестал себя считать за преступника: это животное, это зверь. Что ж в том, что он не понимает, что он животное и заморил в себе совесть? Он только вдвое несчастнее. Вдвое несчастнее, но и вдвое преступнее. Народ пожалеет и его, но не откажется от правды своей. Никогда народ, называя преступника «несчастливым», не переставал его считать за преступника! И не было бы у нас сильнее беды, как если бы сам народ согласился с преступником и ответил ему: «Нет, не виновен, ибо нет преступления»!

Вот наша вера, наша общая вера, хотелось бы мне сказать; вера всех уповающих и ожидающих. Прибавлю еще два слова.

Я был в каторге и видал преступников, «решеных» преступников. Повторяю, это была

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
долгая школа. Ни один из них не переставал себя считать преступником. С виду это был страшный и жестокий народ. «Куражились», впрочем, только из глупеньких, новенькие, и над ними смеялись. Большею частью народ был мрачный, задумчивый. Про преступления свои никто не говорил. Никогда не слышал я никакого ропота. О преступлениях своих даже и нельзя было вслух говорить. Случалось, что раздавалось чье-нибудь слово с вызовом и вывертом, и – «вся каторга», как один человек, осаживала выскочку. Про это не принято было говорить. Но, верно говорю, может, ни один из них не миновал долгого душевного страдания внутри себя, самого очищающего и укрепляющего. Я видал их одиноко задумчивых, я видал их в церкви молящихся перед исповедью; прислушивался к отдельным внезапным словам их, к их восклицаниям; помню их лица, – о, поверьте, никто из них не считал себя правым в душе своей!

Не хотел бы я, чтобы слова мои были приняты за жестокость. Но все-таки я осмелюсь высказать. Прямо скажу: строгим наказанием, острогом и каторгой вы, может быть, половину спасли бы из них. Облегчили бы их, а не отяготили.

Самоочищение страданием легче, – легче, говорю вам, чем та участь, которую вы делаете многим из них сплошным оправданием их на суде. Вы только вселяете в его душу цинизм, оставляете в нем соблазнительный вопрос и насмешку над вами же. Вы не верите? Над вами же, над судом вашим, над судом всей страны! Вы вливаете в их душу безверие в правду народную, в правду Божию; оставляете его смущенного... Он уходит и думает: «Э, да вот как теперь, нету строгости. Поумнели, знать. Боятся, может. Значит, оно можно и в другой раз так же. Понятно, коли я был в такой нужде – как же было не своровать».

И неужто вы думаете, что, отпуская всех сплошь невиновными или «достойными всякого снисхождения», вы тем даете им шанс исправиться? Станет он вам исправляться! Какая ему беда? «Значит, пожалуй, я и не виновен был вовсе» – вот что он скажет в конце концов. Сами же вы натолкнете его на такой вывод. Главное то, что вера в закон и в народную правду расшатывается.

Еще недавно я жил несколько лет сряду за границей. Когда я выехал из России, новый суд только что у нас начинался. С какой жадностью я читал – там все, что касалось русских судов, в наших газетах. За границей я тоже с горечью смотрел на наших абсентеистов; на детей их, не знающих родного языка или забывающих его. Мне ясно было, что половина их самую силою вещей обратится под конец в эмигрантов. Об этом мне всегда было больно думать: столько сил, столько, может быть, лучших людей, а у нас так нуждаются в людях! Но иногда, выходя из читальной залы, ей-богу, господи, я невольно мирился с абсентеизмом и абсентеистами. Сердце поднималось до боли. Читаешь – там оправдали жену, убившую мужа. Преступление явное, доказанное; она сознается сама: «Нет, не виновна». Там молодой человек разламывает кассу и крадет деньги. «Влюблен, дескать, очень был, надо было денег добыть, любовнице угодить». – «Нет, не виновен». И хоть бы все эти случаи оправдывались состраданием, жалостью: то-то и есть, что не понимал я причин оправдания, путался. Впечатление выносилось смутное и – почти оскорбительное. В эти злые минуты мне представлялась иногда Россия какой-то трясинной, болотной, на котором кто-то затеял построить дворец. Снаружи почва как бы и твердая, гладкая, а между тем это нечто вроде поверхности какого-нибудь горохового киселя, ступите – и так и скользнете вниз, в самую бездну. Я очень упрекал себя за мое малодушие; меня ободряло, что все-таки я издали могу ошибаться, что все-таки я покамест тот же абсентеист, не вижу близко, не слышу ясно...

И вот я давно уже снова на родине. «Да полно, жалко ли им в самом деле» – ведь вот вопрос!

Не смейтесь, что я придаю такую важность ему. «Жалость» по крайней мере хоть что-нибудь и как-нибудь объясняет, хоть из потемок выводит, а без этого последнего объяснения – одно недоумение, точно мрак, в котором живет какой-то сумасшедший.

Мужик забивает жену, увечит ее долгие годы, ругается над нею хуже, чем над собакой. В отчаянии решившись на самоубийство, идет она почти обезумевшая в свой деревенский суд. Там отпускают ее, промямлив ей равнодушно: «живите согласнее». Да разве это жалость? Это какие-то тупые слова проснувшегося от запоя пьяницы, который едва различает, что вы стоите пред ним, глупо и беспрепятственно машет на вас рукой, чтобы вы не мешали, у которого еще не ворочается язык, чад и безумие

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r в голове.

История этой женщины, впрочем, известна, слишком недавняя. Ее читали во всех газетах и, может быть, еще помнят. Просто-запросто жена от побоев мужа повесилась; мужа судили и нашли достойным снисхождения. Но мне долго еще мерещилась вся обстановка, мерещится и теперь.

Я все воображал себе его фигуру: сказано, что он высокого роста, очень плотного сложения, силен, белокур. Я прибавил бы еще – с жидкими волосами. Тело белое, пухлое, движения медленные, важные, взгляд сосредоточенный; говорит мало и редко, слова роняет как многоценный бисер и сам ценит их прежде всех. Свидетели показали, что характера был жестокого: поймает курицу и повесит ее за ноги, вниз головой, так, для удовольствия: это его развлекало: превосходная характернейшая черта! Он бил жену чем попало несколько лет сряду – веревками, палками. Вынет половицу, просунет в отверстие ее ноги, а половицу притиснет и бьет, и бьет. Я думаю, он и сам не знал, за что ее бьет, так, по тем же, вероятно, мотивам, по которым и курицу вешал. Морил тоже голодом, по три дня не давал ей хлеба. Положит на полку хлеб, ее подзовет и скажет: «Не смей трогать хлеба, это мой хлеб», – чрезвычайно характерная тоже черта! Она побиралась с десятилетним ребенком у соседей: дадут хлеба – поедят, не дадут – сидят голодом. Работу с нее спрашивал; все она исполняла неуклонно, бессловесно, запуганно и стала наконец как помешанная. Я воображаю и ее наружность: должно быть, очень маленькая, исхудавшая, как щепка, женщина. Иногда это бывает, что очень большие и плотные мужчины, с белым, пухлым телом, женятся на очень маленьких, худеньких женщинах (даже наклонны к таким выборам, я заметил), и так странно смотреть на них, когда они стоят или идут вместе. Мне кажется, что если бы она забеременела от него в самое последнее время, то это была бы еще характернейшая и необходимейшая черта, чтобы восполнить обстановку; а то чего-то как будто недостает. Видали ли вы, как мужик сечет жену? Я видал. Он начинает веревкой или ремнем. Мужичья жизнь лишена эстетических наслаждений – музыки, театров, журналов; естественно, надо чем-нибудь восполнить ее. Свяжав жену или забив ее ноги в отверстие половицы, наш мужичок начинал, должно быть, методически, хладнокровно, сонливо даже, мерными ударами, не слушая криков и молений, то есть именно слушая их, слушая с наслаждением, а то какое было бы удовольствие ему бить? Знаете, господа, люди рождаются в разной обстановке: неужели вы не поверите, что эта женщина в другой обстановке могла бы быть какой-нибудь Юлией или Беатриче из Шекспира, Гретхен из «Фауста»? Я ведь не говорю, что была, – и было бы это очень смешно утверждать, – но ведь могло быть в зародыше и у ней нечто очень благородное в душе, пожалуй, не хуже, чем и в благородном сословии: любящее, даже возвышенное сердце, характер, исполненный оригинальнейшей красоты. Уже одно то, что она столько медлила наложить на себя руки, показывает ее в таком тихом, кротком, терпеливом, любящем свете. И вот эту-то Беатриче или Гретхен секут, секут как кошку! Удары сыплются все чаще, резче, бесчисленнее; он начинает разгорячаться, входит во вкус. Вот уже он озверел совсем и сам с удовольствием это знает. Животные крики страдальцы хмелят его как вино: «Ноги твои буду мыть, воду эту пить», – кричит Беатриче нечеловеческим голосом, наконец затихает, перестает кричать и только дико как-то кряхтит, дыхание поминутно обрывается, а удары тут-то и чаще, тут-то и садче... Он вдруг бросает ремень, как ошалелый схватывает палку, сучок, что попало, ломает их с трех последних ужасных ударов на ее спине, – баста! Отходит, садится за стол, вздыхает и принимается за квас. Маленькая девочка, дочь их (была же и у них дочь!), на печке в углу дрожит, прячется: она слышала, как кричала мать. Он уходит. К рассвету мать очнется, встанет, охая и вскрикивая при каждом движении, идет доить корову, тащится за водой, на работу.

А он ей, уходя, своим методическим, медленным и важным голосом: «Не смей есть этот хлеб, это мой хлеб».

Под конец ему нравилось тоже вешать ее за ноги, как вешал курицу. Повесит, должно быть, а сам отойдет, сядет, примется за кашу, поест, потом вдруг опять возьмет ремень и начнет, и начнет висячую... А девочка все дрожит, скорчившись на печи, дико заглянет украдкой на повешенную за ноги мать и опять спрячется.

Она удавилась в мае поутру, должно быть, в ясный весенний день. Ее видели накануне избитую, совсем обезумевшую. Ходила она тоже перед смертью в волостной суд, и вот там-то и промямлили ей: «Живите согласнее».

Когда она повесилась и захрипела, девочка закричала ей из угла: «Мама, на что ты

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
давишься?» Потом робко подошла, окликнула висевшую, дико осмотрела ее и несколько раз в утро подходила из угла на нее смотреть, до самых тех пор, пока воротился отец.

И вот он перед судом – важный, пухлый, сосредоточенный; запирается во всем: «Душа в душу жили», – роняет он ценным бисером редкие слова. Присяжные выходят и по «кратком совещании» выносят приговор: «Виновен, но достоин снисхождения».

Заметьте, что девочка свидетельствовала против отца. Она рассказала все и исторгла, говорят, слезы присутствующих. Если бы не «снисхождение» присяжных, то его сослали бы на поселение в Сибирь.

Но с «снисхождением» ему только восемь месяцев пробыть в остроге, а там воротится домой и потребует к себе свидетельствовавшую против него за мать девочку. Будет кого опять за ноги вешать.

«Достойн снисхождения!» И ведь этот приговор дан зазнамо. Знали ведь, что ожидает ребенка. К кому, к чему снисхождение? Чувствуешь себя как в каком-то вихре; захватило вас и вертит, и вертит.

Постойте, расскажу еще анекдот. Когда-то, еще до новых судов (впрочем, незадолго до них), прочитал я в наших газетах вот какой один фактик: мать таскала на руках ребенка годового или четырнадцати месяцев. В этот возраст идут зубки; дети нездоровы, плачут и очень мучаются. Надоел ребенок матери, может, и дела у ней было много, а тут таскай его на руках и слушай его раздирающий плач. Озлилась она. А впрочем, неужто бить за это такого маленького ребеночка? Ведь так жалко прибить его, и что он смыслит? Ведь он так беспомощен, зависит от последней пылинки... Ведь и не уймешь, коли прибьешь: он зальется своими слезками и вас же обхватит ручками, а то вас же начнет целовать, и плачет, и плачет. Но она не прибила его, а там в комнате кипел самовар. Она поднесла ручку ребенка под самый кран и отвернула кран. Она выдержала ручку под кипятком секунд десять.

Это факт, я читал. Но вот представьте, что это случилось теперь и эту женщину вызвали в суд. Присяжные удаляются и «по кратком совещании» выносят приговор: «Достойна всякого снисхождения».

Ну, представьте это себе; я по крайней мере матерей приглашаю представить. То-то, должно быть, вертелся бы тут адвокат:

– Господа присяжные, конечно, случай этот нельзя назвать вполне гуманным, но возьмите дело в его целостности, представьте среду, обстановку. Эта женщина бедна, одна в доме работница, терпит неприятности. Ей не на что было даже няньку нанять. Естественно, что под такую минуту, когда злоба от заевшей среды входит, так сказать, внутрь, господа, естественно, что она и поднесла ручку под кран самовара... ну и... и...

О, конечно, я понимаю всю полезность и всю высоту адвокатского звания, всеми уважаемого. Но нельзя же не взглянуть иногда с одной точки, – согласен, легкомысленной, но и невольной: ведь какова же иногда их должность каторжная, подумаешь про себя, вертится, изворачивается как уж, лжет против своей совести, против собственного убеждения, против всякой нравственности, против всего человеческого! Нет, подлинно недаром деньги берут.

– Да подите! – восклицает вдруг давешний язвительный голос. – Ведь все это вздор и одна только ваша фантазия. Никогда не выносили такого приговора присяжные. Никогда не вертелся адвокат. Все напредставили.

А жена, привешенная вверх ногами как курица, а «это мой хлеб, не смей есть его», а девочка, дрожащая на печи, полчаса слушающая крики матери, а «мама, на что ты давишься?» – это разве не то же самое, что и ручка под кипятком? Ведь почти то же самое!

«Неразвитость, тупость, пожалейте, среда», – настаивал адвокат мужика. Да ведь их миллионы живут и не все же вешают жен своих за ноги! Ведь все-таки тут должна быть черта... С другой стороны, вот и образованный человек, да сейчас повесит. Полноте вертеться, господа адвокаты, с вашей «средой».

Нечто о вранье

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
(Из «Дневника писателя». 1873 год)

Отчего у нас все лгут, все до единого? Я убежден, что тотчас же остановят меня и закричат: «Э, вздор, совсем не все! У вас темы нет, вот вы и выдумываете, чтоб начать поэффектнее». Бестемностью меня уже попрекали; но в том и дело, что я действительно в этой поголовности нашего лганья теперь убежден. Пятьдесят лет живешь с идеею, видишь и осязаешь ее, и вдруг она предстанет в таком виде, что как будто совсем и не знал ее до сих пор. С недавнего времени меня вдруг осенила мысль, что у нас в России, в классах интеллигентных, даже совсем и не может быть нелгущего человека. Это именно потому, что у нас могут лгать даже совершенно честные люди. Я убежден, что в других нациях, в огромном большинстве, лгут только одни негодяи; лгут из практической выгоды, то есть прямо с преступными целями. Ну а у нас могут лгать совершенно даром самые почтенные люди и с самыми почтенными целями. У нас, в огромном большинстве, лгут из гостеприимства. Хочется произвести эстетическое впечатление в слушателе, доставить удовольствие, ну и лгут, даже, так сказать, жертвуя собою слушателю. Пусть припомнит кто угодно – не случилось ли ему раз двадцать прибавить, например, число верст, которое проскакали в час времени везшие его тогда-то лошади, если только это нужно было для усиления радостного впечатления в слушателе. И не обрадовался ли действительно слушатель до того, что тотчас же стал уверять вас об одной знакомой ему тройке, которая на пари обогнала железную дорогу, и т. д. и т. д. Ну а охотничьи собаки, или о том, как вам в Париже вставляли зубы, или о том, как вас вылечил здесь Боткин? Не рассказывали ли вы о своей болезни таких чудес, что хотя, конечно, и поверили сами себе с половины рассказа (ибо с половины рассказа всегда сам себе начинаешь верить), но, однако, ложась на ночь спать и с удовольствием вспоминая, как приятно поражен был ваш слушатель, вы вдруг остановились и невольно проговорили: «Э, как я врал!» Впрочем, пример этот слаб, ибо нет приятнее как говорить о своей болезни, если только найдется слушатель; а заговорить, так уж невозможно не лгать; это даже лечит больного. Но, возвратясь из-за границы, не рассказывали ли вы о тысяче вещей, которые видели «своими глазами»... впрочем, и этот пример я беру назад: не прибавлять об «загранице» возвратившемуся оттуда русскому человеку нельзя; иначе незачем было бы туда ездить. Но, например, естественные науки! Не толковали ли вы о естественных науках или о банкротствах и бегствах разных петербургских и других жидов за границу, ровно ничего не смысля в этих жидях и не зная в зуб толкнуть о естественных науках? Позвольте, не передавали ли вы анекдота, будто бы с вами случившегося, тому же самому лицу, которое вам же его про себя и рассказывало? Неужели вы позабыли, как с половины рассказа вдруг припомнили и об этом догадались, что ясно подтвердилось и в страдающем взгляде вашего слушателя, упорно на вас устремленном (ибо в таких случаях почему-то с удесятеренным упорством смотрят друг другу в глаза); помните, как, несмотря ни на что и уже лишившись всего вашего юмора, вы все-таки с мужеством, достойным великой цели, продолжали лепетать вашу повесть и, кончив поскорее с нервно-уторопленными учтивостями, пожатием рук и улыбками, разбежались в разные стороны, так что когда вас вдруг дернуло ни с того ни с сего в порыве последней конвульсии крикнуть уже на лестницу сбегавшему по ней вашему слушателю вопрос о здоровье его тетушки, то он не обернулся и не ответил тогда о тетушке, что и осталось в воспоминаниях ваших мучительнее всего из всего этого с вами случившегося анекдота. Одним словом, если кто на все это мне ответит: нет, то есть что он не передавал анекдотов, не трогал Боткина, не лгал об жидях, не кричал с лестницы о здоровье тетушки и что ничего подобного с ним никогда не случилось, то я просто этому не поверю. Я знаю, что русский лгун сплошь да рядом лжет совсем для себя не приметно, так что просто можно было совсем не заметить. Ведь что случается: чуть только солжет человек, и удачно, то так слюбится, что и включает анекдот в число несомненных фактов своей собственной жизни; и действует совершенно совестливо, потому что сам вполне тому верит; да и неестественно было бы иногда не верить.

«Э, вздор! – скажут мне опять. – Лганье невинное, пустяки, ничего мирового». Пусть. Я сам соглашаюсь, что все очень невинно и намекает лишь на благородные свойства характера, на чувство благодарности, например. Потому что если вас слушали, когда вы лгали, то нельзя же не дать поврать и слушателю, хотя бы из одной благодарности.

Деликатная взаимность вранья есть почти первое условие русского общества – всех русских собраний, вечеров, клубов, ученых обществ и проч. В самом деле, только правдивая тупица какая-нибудь вступает в таких случаях за правду и начинает вдруг сомневаться в числе проскаканых вами верст или в чудесах, сделанных с вами Боткиным. Но это лишь бессердечные и геморроидальные люди, которые сами же

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r и немедленно несут за то наказание, удивляясь потом, отчего оно их постигло? Люди бездарные. Тем не менее все это лганье, несмотря на всю невинность свою, намекает на чрезвычайно важные основные наши черты, до того, что уж тут почти начинает выступать мировое. Например, 1) на то, что мы, русские, прежде всего боимся истины, то есть и не боимся, если хотите, а постоянно считаем истину чем-то слишком уж для нас скучным и прозаичным, недостаточно поэтичным, слишком обыкновенным и тем самым, избегая ее постоянно, сделали ее наконец одною из самых необыкновенных и редких вещей в нашем русском мире (я не про газету говорю). Таким образом у нас совершенно утратилась аксиома, что истина поэтичнее всего, что есть в свете, особенно в самом чистом своем состоянии; мало того, даже фантастичнее всего, что мог бы налгать и напредставить себе повадливый ум человеческий. В России истина почти всегда имеет характер вполне фантастический. В самом деле, люди сделали наконец то, что все, что налжет и перелжет себе ум человеческий, им уже гораздо понятнее истины, и это сплошь на свете. Истина лежит перед людьми по сто лет на столе, и ее они не берут, а гоняются за придуманным, именно потому, что ее-то и считают фантастичным и утопическим.

Второе, на что наше всеобщее русское лганье намекает, это то, что мы все стыдимся самих себя. Действительно, всякий из нас носит в себе чуть ли не прирожденный стыд за себя и за свое собственное лицо, и, чуть в обществе, все русские люди тотчас же стараются поскорее и во что бы ни стало каждый показаться непременно чем-то другим, но только не тем, чем он есть в самом деле, каждый спешит принять совсем другое лицо.

Еще Герцен сказал про русских за границей, что они никак не умеют держать себя в публике: говорят громко, когда все молчат, и не умеют слова сказать прилично и натурально, когда надобно говорить. И это истина: сейчас же выверт, ложь, мучительная конвульсия; сейчас же потребность устыдиться всего, что есть в самом деле, спрятать и прибрать свое, данное богом русскому человеку лицо и явиться другим, как можно более чужим и нерусским лицом. Все это из самого полного внутреннего убеждения, что собственное лицо у каждого русского – непременно ничтожное и комическое до стыда лицо; а что если он возьмет французское лицо, английское, одним словом, не свое лицо, то выйдет нечто гораздо почтеннее, и что под этим видом его никак не узнают. Отмечу при этом нечто весьма характерное: весь этот дрянной стыдишка за себя и все это подлое самоотрицание себя в большинстве случаев бессознательны; это нечто конвульсивное и непреодолимое; но, в сознании, русские – хотя бы и самые полные самоотрицатели из них – все-таки с ничтожностью своею не так скоро соглашаются в таком случае и непременно требуют уважения: «Я ведь совсем как англичанин, – рассуждает русский, – стало быть, надо уважать и меня, потому что всех англичан уважают». Двести лет выработывался этот главный тип нашего общества под неперменным, еще двести лет тому указанным принципом: ни за что и никогда не быть самим собою, взять другое лицо, а свое навсегда оплевать, всегда стыдиться себя и никогда не походить на себя – и результаты вышли самые полные. Нет ни немца, ни француза, нет в целом мире такого англичанина, который, сойдясь с другими, стыдился бы своего лица, если по совести уверен, что ничего не сделал дурного. Русский очень хорошо знает, что нет такого англичанина; а воспитанный русский знает и то, что не стыдиться своего лица, даже где бы то ни было, есть именно самый главный и существенный пункт собственного достоинства. Вот почему он и хочет казаться поскорей французом или англичанином, именно затем, чтоб и его приняли поскорей за такого же, который нигде и никогда не стыдится своего лица.

«Невинности, старина, говорено уже тысячу раз», – скажут опять. Пусть, но вот уже нечто похарактернее. Есть пункт, в котором всякий русский человек разряда интеллигентного, являясь в общество или в публику, ужасно требователен и ни за что уступить не может. (Другое дело у себя дома и сам про себя.) Пункт этот – ум, желанье показаться умнее, чем есть, и – замечательно это – отнюдь не желание показаться умнее всех или даже кого бы то ни было, а только лишь не глупее никого. «Признай, дескать, меня, что я не глупее никого, и я тебя признаю, что и ты не глупей никого». Опять-таки тут нечто вроде взаимной благодарности. Перед авторитетом европейским, например, русский человек, как известно, со счастьем и поспешностью преклоняется, даже не позволяя себе анализа; даже особенно не любит анализа в таких случаях. О, другое дело, если гениальное лицо сойдет с пьедестала или даже просто выйдет из моды: тогда нет строже русской интеллигенции к такому лицу, нет предела ее высокомерию, презрению, насмешке. Мы пренаивно удивляемся потом, если вдруг как-нибудь узнаем, что в Европе все еще продолжают смотреть на сошедшее у нас с пьедестала лицо с уважением и ценить его по достоинству. Но зато тот же самый русский человек, хотя бы и преклонился пред

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
гением в моде даже и без анализа, все-таки ни за что и никогда не признает себя глупее этого гения, пред которым сам сейчас преклонился, будь он разьевропейский. «Ну Гёте, ну Либих, ну Бисмарк, ну положим... а все-таки и я тоже», – представляется каждому русскому непременно, даже из самых плюгавеньких, если только дойдет до того. И не то что представляется, ибо сознания тут почти никакого, а только как-то его всего дергает в этом смысле. Это какое-то непрерывное ощущение праздного и шатающегося по свету самолюбия, ничем не оправданного. Одним словом, до такого, может быть, самого высшего проявления человеческого достоинства – то есть признать себя глупее другого, когда другой действительно умнее его, – русский человек высших классов никогда и ни в каком случае не может дойти, и даже я не знаю, могут ли быть исключения. Пусть не очень-то смеются над моим «парадоксом». Соперник Либиха, может быть, и в гимназии не окончил курса и, уж конечно, с Либихом не свяжется спорить о первенстве, когда ему скажут и укажут, что это вот Либих. Он промолчит – но все-таки его будет дергать, даже при Либихе... Другое дело если б, например, он встретился с Либихом, не зная, что это вот Либих, хоть в вагоне железной дороги. И если б только завязался разговор о химии и нашему господину удалось бы к разговору примазаться, то, сомнения нет, он мог бы выдержать самый полный ученый спор, зная из химии всего только одно слово «химия». Он удивил бы, конечно, Либиха, но – кто знает – в глазах слушателей остался бы, может быть, победителем. Ибо в русском человеке дерзости его ученого языка – почти нет пределов. Тут именно происходит феномен, существующий только в русской интеллигентных классов душе: не только нет в душе этой, лишь только она почувствует себя в публике, сомнения в уме своем, но даже в самой полной учености, если только дело дойдет до учености. Про ум еще можно понять; но про ученость свою, казалось бы, каждый должен иметь самые точные сведения...

Конечно, все это только в публике, когда кругом чужие. Дома же про себя... Ну, дома про себя ни один русский человек об образовании и учености своей не заботится, даже и вопроса о том никогда не ставит... Если же поставит, то вернее всего, что там дома решит его в свою пользу, хотя бы и имел самые полные сведения о своей учености.

Мне самому случилось выслушать недавно, сидя в вагоне, целый трактат о классических языках в продолжение двух часов дороги. Говорил один, а все слушали. Это был никому из пассажиров не знакомый господин, осанистый, зрелых лет, сдержанного и барского вида, веско и неторопливо выпускавший слова. Он всех заинтересовал. Очевидно было с самых первых слов его, что он не только в первый раз говорил, но даже, может быть, в первый раз и думал об этой теме, так что это была лишь блестящая импровизация. Он вполне отрицал классическое образование и введение его у нас называл «историческим и роковым дурачеством» – впрочем, это было единственное резкое слово, которое он себе позволил; тон его взят был слишком высоко и не позволял ему горячиться, из одного уж презрения к факту. Основания, на которых стоял он, были самые первоначальные, приличные разве лишь тринадцатилетнему школьнику, почти те же самые, на которых еще до сих пор стоят иные из наших газет, воюющие с классическими языками, например, «так как все латинские сочинения переведены, то и не надо латинского языка», и проч. и проч. – в этом роде. В нашем вагоне он произвел чрезвычайный эффект; многие, расставаясь с ним, благодарили его за доставленное удовольствие, особенно дамы. Я убежден, что он ушел, чрезвычайно уважая себя.

Теперь у нас в публике (в вагонах ли, в другом ли месте) разговоры сильно изменились против прежних, старых лет; теперь жаждут слушать, жаждут учителей – на все общественные и социальные темы. Правда, разговоры в публике у нас ужасно туго завязываются; всех сначала долго коробит, пока решатся заговорить, ну а заговорят – в такой пафос иной раз войдут, что почти надо за руки держать. Разговоры же более сдержанные и солидные и, так сказать, более высшие и уединенные вертятся преимущественно на темах биржевых или правительственных, но с секретной, изнаночной точки зрения, с познанием высших тайн и причин, обыкновенной публике неизвестных. Обыкновенная публика слушает смиренно и почтительно, а говоруну выигрывают в своей осанке. Разумеется, из них мало кто верит один другому, но расстаются они почти всегда один другим совершенно довольные и друг другу даже несколько благодарные. Задача проехать приятно и весело по железной нашей дороге заключается в умении давать врать другим и как можно более верить; тогда и вам дадут тоже с эффектом прилгнуть, если и сами вы соблазнитесь; стало быть, взаимная выгода. Но, как я сказал уже, есть и общие, животрепещущие, насыщенные темы разговоров, в которые ввязывается уже вся публика, и это не затем одним, чтоб приятно время провести: повторяю, жаждут научиться,

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
разъяснить себе современные затруднения, ищут, жаждут учителей, и особенно женщины, особенно матери семейств. Замечательно то, что, при всей этой чрезвычайной любопытной и далеко намекающей жажде общественных советников и руководителей, при всем этом благородном стремлении, удовлетворяются слишком легко, самым иногда неожиданным образом, верят всему, подготовлены и вооружены весьма слабо, – гораздо слабее, чем могла бы представить вам самая яркая ваша фантазия несколько лет тому назад, когда о нашем русском обществе труднее было сделать точное заключение сравнительно с теперешним временем, когда уже имеется более фактов и сведений. Положительно можно сказать, что всякий говорун с несколько порядочными манерами (к порядочным манерам наша публика, увы, до сих пор еще чувствует предрассудочную слабость, несмотря на все более и более разливающееся из фельетонов образование) может одержать верх и уверить слушателей своих в чем угодно, получить благодарность и уйти, глубоко уважая себя. Разумеется, при несомненном условии быть либеральным, – об этом уже нечего и упоминать. В другой раз мне, тоже в вагоне и тоже недавно, случилось выслушать целый трактат об атеизме. Оратор, светского и инженерного вида господин, вида, впрочем, угрюмого, но с болезненной жаждою слушателя, начал с монастырей. В монастырском вопросе он не знал самого первого слова: он принимал существование монастырей за нечто неотъемлемое от догматов веры, воображал, что монастыри содержатся от государства и дорого стоят казне, и, забывая, что монахи совершенно свободная ассоциация лиц, как и всякая другая, требовал во имя либерализма их уничтожения, как какую-то тиранию. Он кончил совершенным и безбрежным атеизмом на основании естественных наук и математики. Он ужасно часто повторял о естественных науках и математике, не приведя, впрочем, ни одного факта из этих наук в продолжение всей своей диссертации. Говорил опять-таки он один, а прочие только слушали: «Я научу сына моего быть честным человеком, и вот и все», – порешил он в заключение в полной и очевидной уверенности, что добрые дела, нравственность и честность есть нечто данное и абсолютное, ни от чего не зависящее и которое можно всегда найти в своем кармане, когда понадобится, без трудов, сомнений и недоумений. Этот господин имел тоже необыкновенный успех. Тут были офицеры, старцы, дамы и взрослые дети.

Его горячо благодарили, расставаясь, за доставленное удовольствие, причем одна дама, мать семейства, щеголевато одетая и очень недурная собою, громко и с милым хихиканьем объявила, что она теперь совершенно убеждена, что в душе ее «один только пар». Этот господин тоже, должно быть, ушел с необыкновенным чувством уважения к себе.

Вот это-то уважение к себе и сбивает меня с толку. Что есть дураки и болтуны, – конечно, тому нечего удивляться; но господин этот, очевидно, был не дурак. Наверно тоже не негодяй, не мошенник; даже очень может быть, что честный человек и хороший отец. Он только ровно ничего не понимал в тех вопросах, которые взялся разрешить. Неужто ему не придет в голову через час, через день, через месяц: «Друг мой, Иван Васильевич (или там кто бы ни было), вот ты спорил, а ведь ты ровно ничего не понимаешь в том, об чем трактовал. Ведь ты это лучше всех знаешь. Ты вот ссылался на естественные науки и математику – а ведь тебе лучше всех известно, что ты свою скудную математику, из твоей специальной школы, давно забыл, да и там-то нетвердо знал, а в естественных науках никогда не имел никакого понятия. Как же ты говорил? Как же ты учил? Ведь ты же понимаешь, что только врал, а между тем до сих пор гордишься собою; и не стыдно это тебе?»

Я убежден, что он мог задать себе все эти вопросы, несмотря на то что, может быть, занят «делом» и нет у него времени на праздные вопросы. Я даже несомненно убежден, что они, хоть вскользь, а побывали в его голове. Но ему не было стыдно, ему не было совестно! Вот эта-то известного рода бессовестность русского интеллигентного человека – решительный для меня феномен. Что в том, что она у нас так сплошь да рядом обыкновенна и все к ней привыкли и пригляделись; она все-таки остается фактом удивительным и чудесным. Она свидетельствует о таком равнодушии к суду над собой своей собственной совести, или, что то же самое, о таком необыкновенном собственном неуважении к себе, что придешь в отчаяние и потеряешь всякую надежду на что-нибудь самостоятельное и спасительное для нации, даже в будущем, от таких людей и такого общества. Публика, то есть внешность, европейский облик, раз навсегда данный из Европы закон, – эта публика производит на всякого русского человека действие подавляющее: в публике он европеец, гражданин, рыцарь, республиканец, с совестью и с своим собственным твердоустановленным мнением. Дома, про себя, – «Э, черт ли в мнениях, да хошь бы высекли!» Поручик Пирогов, сорок лет тому назад высеченный в Большой Мещанской слесарем Шиллером, был страшным пророчеством, пророчеством гения, так ужасно

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
угадавшего будущее, ибо Пироговых оказалось безмерно много, так много, что и не пересечь. Вспомните, что поручик сейчас же после приключения съел слоеный пирожок и отличился в тот же вечер в мазурке на именинах у одного видного чиновника. Как вы думаете: когда он откалывал мазурку и вывертывал, делая па, свои столь недавно оскорбленные члены, думал ли он, что его всего только часа два как высекли? Без сомнения думал. А было ли ему стыдно? Без сомнения нет! Проснувшись на другой день поутру, он наверно сказал себе: «Э, черт, стоит ли начинать, коли никто не узнает!..» Это «стоит ли начинать», конечно, с одной стороны, намекает на такую способность уживчивости со всем чем угодно, а вместе с тем и на такую широту нашей русской природы, что пред этими качествами бледнеет и гаснет даже все безграничное. Двухсотлетняя отвычка от малейшей самостоятельности характера и двухсотлетние плевки на свое русское лицо раздвинули русскую совесть до такой роковой безбрежности, от которой... ну чего можно ожидать, как вы думаете?

я убежден, что поручик в состоянии был дойти до таких столпов или до такой безбрежности, что, может быть, в тот же вечер своей даме в мазурке, старшей дочери хозяина, объяснился в любви и сделал формальное предложение. Бесконечно трагичен образ этой барышни, порхающей с этим молодым в очаровательном танце и не знающей, что ее кавалера всего только час как высекли и что это ему совсем ничего. Ну а как вы думаете, если б она узнала, а предложение все-таки было бы сделано – вышла бы она за него (разумеется, под условием, что более уж никто не узнает)? Увы, непременно бы вышла!

Достоевский в 1863 году

А все-таки из числа Пироговых и вообще всех «безбрежных», кажется, можно исключить огромное большинство наших женщин. В нашей женщине все более и более замечается искренность, настойчивость, серьезность и честь, искание правды и жертва; да и всегда в русской женщине все это было выше, чем у мужчин. Это несомненно, несмотря на все даже теперешние уклонения. Женщина меньше лжет, многие даже совсем не лгут, а мужчин почти нет не лгущих, – я говорю про теперешний момент нашего общества. Женщина настойчивее, терпеливее в деле; она серьезнее, чем мужчина, хочет дела для самого дела, а не для того лишь, чтоб казаться. Уж не в самом ли деле нам отсюда ждать большой помощи?

О народной идее

(Из «Дневника писателя». 1876 год)

...Я написал в январском номере «Дневника», что народ наш груб и невежествен, предан мраку и разврату, «варвар, ждущий света». А между тем я только что прочел в «Братской помощи» (сборник, изданный Славянским комитетом в пользу дерущихся за свою свободу славян), – в статье незабвенного и дорогого всем русским покойного Константина Аксакова, что русский народ – давно уже просвещен и «образован». Что же? Смутился ли я от такого, по-видимому, разногласия моего с мнением Константина Аксакова? Нисколько, я вполне разделяю это же самое мнение, горячо и давно ему сочувствую. Как же я соглашаю такое противоречие? Но в том и дело, что, по-моему, это очень легко согласить, а по другим, к удивлению моему, до сих пор эти обе темы несогласимы. В русском человеке из простонародья нужно уметь отвлекать красоту его от наносного варварства. Обстоятельствами всей почти русской истории народ наш до того был предан разврату и до того был развращаем, соблазняем и постоянно мучим, что еще удивительно, как он дожил, сохранив человеческий образ, а не то что сохранив красоту его. Но он сохранил и красоту своего образа. Кто истинный друг человечества, у кого хоть раз билось сердце по страданиям народа, тот поймет и извинит всю непроходимую наносную грязь, в которую погружен народ наш, и сумеет отыскать в этой грязи бриллианты.

Повторяю: судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно вздыхает. А ведь не все же и в народе – мерзавцы, есть прямо святые, да еще какие: сами светят и всем нам путь освещают! Я как-то слепо убежден, что нет такого подлеца и мерзавца в русском народе, который бы не знал, что он подл и мерзок, тогда как у других бывает так, что делает мерзость, да еще сам себя за нее похваливает, в принцип свою мерзость возводит, утверждает, что в ней-то и заключается порядок и свет цивилизации, и несчастный кончает тем, что верит тому искренно, слепо и даже честно. Нет, судите наш народ не по тому, чем он есть, а

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r по тому, чем желал бы стать. А идеалы его сильны и святы, и они-то и спасли его в века мучений; они срослись с душой его искони и наградили ее навеки простодушием и честностью, искренностью и широким всеоткрытым умом, и все это в самом привлекательном гармоническом соединении. А если притом и так много грязи, то русский человек и тоскует от нее всего более сам, и верит, что все это – лишь наносное и временное, наваждение диавольское, что кончится тьма и что непременно воссияет когда-нибудь вечный свет. Я не буду вспоминать про его исторические идеалы, про его Сергиев, Феодосиев Печерских и даже про Тихона Задонского. А кстати: многие ли знают про Тихона Задонского? Зачем это так совсем не знать и совсем дать себе слово не читать? Некогда, что ли? Поверьте, господа, что вы, к удивлению вашему, узнали бы прекрасные вещи. Но обращаюсь лучше к нашей литературе: все, что есть в ней истинно прекрасного, то все взято из народа, начиная с смиренного, простодушного типа Белкина, созданного Пушкиным. У нас все ведь от Пушкина. Поворот его к народу в столь раннюю пору его деятельности до того был беспримерен и удивителен, представлял для того времени до того неожиданное новое слово, что объяснить его можно лишь если не чудом, то необычайною величиною гения, которого мы, прибавлю к слову, до сих пор еще оценить не в силах. Не буду упоминать о чисто народных типах, появившихся в наше время, но вспомните Обломова, вспомните «Дворянское гнездо» Тургенева.

Тут, конечно, не народ, но все, что в этих типах Гончарова и Тургенева вековечного и прекрасного, – все это от того, что они в них соприкоснулись с народом; это соприкосновение с народом придало им необычайные силы. Они заимствовали у него его простодушие, чистоту, кротость, широкость ума и незлобие, в противоположность всему изломанному, фальшивому, наносному и рабски заимствованному. Не дивитесь, что я заговорил вдруг об русской литературе. Но за литературой нашей именно та заслуга, что она, почти вся целиком, в лучших представителях своих и прежде всей нашей интеллигенции, заметьте себе это, преклонилась перед правдой народной, признала идеалы народные за действительно прекрасные. Впрочем, она принуждена была взять их себе в образец отчасти даже неволью. Право, тут, кажется, действовало скорее художественное чутье, чем добрая воля. Но об литературе пока довольно, да и заговорил я об ней по поводу лишь народа. Вопрос о народе и о взгляде на него, о понимании его теперь у нас самый важный вопрос, в котором заключается все наше будущее, даже, так сказать, самый практический вопрос наш теперь. И однако же, народ для нас всех – все еще теория и продолжает стоять загадкой. Все мы, любители народа, смотрим на него как на теорию, и, кажется, ровно никто из нас не любит его таким, каким он есть в самом деле, а лишь таким, каким мы его – каждый себе представили. И даже так, что если б народ русский оказался впоследствии не таким, каким мы каждый его представили, то, кажется, все мы, несмотря на всю любовь нашу к нему, тотчас бы отступились от него без всякого сожаления. Я говорю про всех, не исключая и славянофилов; те-то даже, может быть, пуще всех. Что до меня, то я не потаю моих убеждений, именно чтобы определить яснее дальнейшее направление, в котором пойдет мой «Дневник», во избежание недоумения, так что всякий уже будет знать заранее: стоит ли мне протягивать литературную руку или нет? Я думаю так: вряд ли мы столь хороши и прекрасны, чтоб могли поставить самих себя в идеал народу и потребовать от него, чтоб он стал непременно таким же, как мы.

Не дивитесь вопросу, поставленному таким нелепым углом. Но вопрос этот у нас никогда иначе и не ставился: «Что лучше – мы или народ? Народу ли за нами или нам за народом?» – вот что теперь все говорят, из тех, кто хоть капельку не лишен мысли в голове и заботы по общему делу в сердце. А потому и я отвечаю искренно: напротив, это мы должны преклониться перед народом и ждать от него всего, и мысли и образа; преклониться пред правдой народной и признать ее за правду, даже и в том ужасном случае, если она вышла бы отчасти и из Четьи-Минеи. Одним словом, мы должны склониться, как блудные дети, двести лет не бывшие дома, но воротившиеся, однако же, все-таки русскими, в чем, впрочем, великая наша заслуга. Но, с другой стороны, преклониться мы должны под одним лишь условием, и это обязательно: чтоб народ и от нас принял многое из того, что мы принесли с собой. Не можем же мы совсем перед ним уничтожиться, и даже перед какой бы то ни было его правдой; наше пусть остается при нас, и мы не отдадим его ни за что на свете, даже, в крайнем случае, и за счастье соединения с народом. В противном случае пусть уж мы оба погибаем врознь. Да противного случая и не будет вовсе; я же совершенно убежден, что это нечто, что мы принесли с собой, существует действительно, – не мираж, а имеет и образ и форму, и вес. Тем не менее, опять повторяю, многое впереди загадка и до того, что даже страшно и ждать. Предсказывают, например, что цивилизация испортит народ: это будто бы такой ход дела, при котором, рядом с спасением и светом, вторгается столько ложного и

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
фальшивого, столько тревоги и сквернейших привычек, что разве лишь в поколениях
впереди, опять-таки, пожалуй, через двести лет, взрастут хорошие семена, а детей
наших и нас, может быть, ожидает что-нибудь ужасное. Так ли это по-вашему,
господа? Назначено ли нашему народу непременно пройти еще новый фазис разврата и
лжи, как прошли и мы его с прививкой цивилизации? (Я думаю, никто ведь не
заспорит, что мы начали нашу цивилизацию прямо с разврата?) Я бы желал услышать
на этот счет что-нибудь утешительнее. Я очень склонен уверовать, что наш народ
такая огромность, что в ней уничтожатся, сами собой, все новые мутные потоки,
если только они откуда-нибудь выскочат и потекут. Вот на это давайте руку;
давайте способствовать вместе, каждый «микроскопическим» своим действием, чтоб
дело обошлось прямее и безошибочнее. Правда, мы сами-то не умеем тут ничего, а
только «любим отечество», в средствах не согласимся – и еще много раз поссоримся;
но ведь если уж решено, что мы люди хорошие, то что бы там ни вышло, а ведь
дело-то, под конец, наладится. Вот моя вера. Повторяю: тут двухсотлетняя отвычка
от всякого дела и более ничего. Вот через эту-то отвычку мы и покончили наш
«культурный период» тем, что повсеместно перестали понимать друг друга. Конечно,
я говорю лишь о серьезных и искренних людях, – это они только не понимают друг
друга; а спекулянты дело другое: те друг друга всегда понимали...

«Русский народ бывает иногда ужасно неправдоподобен» – словцо это удалось мне
услышать тоже нынешним летом и, опять-таки, конечно, потому, что и для
произнесшего это словцо многое, случившееся нынешним летом, было делом
неожиданным, а может быть, и в самом деле «неправдоподобным». Но что же, однако,
случилось такого нового, и не лежало ли, напротив, все, что вышло наружу, давно
уже и даже всегда в сердце народа русского?

Поднялась, во-первых, народная идея и сказалось народное чувство: чувство –
бескорыстной любви к несчастным и угнетенным братьям своим, а идея –
«Православное дело». И действительно, уже в этом одном сказалось нечто как бы и
неожиданное. Неожиданного (впрочем, далеко не для всех) было то, что народ не
забыл свою великую идею, свое «Православное дело» – не забыл в течение
двухвекового рабства, мрачного невежества, а в последнее время – гнусного
разврата, матерьялизма, жидовства и сивухи. Во-вторых, неожиданным было то, что
с народной идеей, с «Православным делом» – соединились вдруг почти все оттенки
мнений самой высшей интеллигенции русского общества – вот тех самых людей,
которых считали мы уже совсем оторвавшимися от народа. Заметьте при этом
необычайное у нас одушевление и единодушие почти всей нашей печати... Старушка
божия подает свою копеечку на славян и прибавляет: «на Православное дело».
Журналист подхватывает это словцо и передает его в газете с благоговением
истинным, и вы видите, что он сам всем сердцем своим за то же самое
«Православное дело»: вы это чувствуете, читая статью. Даже, может быть, и ничему
не верующие поняли теперь у нас наконец, что значит, в сущности, для русского
народа его Православие и «Православное дело»? Они поняли, что это вовсе не
какая-нибудь лишь обрядная церковность, а с другой стороны, вовсе не
какой-нибудь религиозный фанатизм (как уже и начинают выражаться об этом
всеобщем теперешнем движении русском в Европе), а что это именно есть прогресс
человеческий и всечеловеческое человеческое, так именно понимаемое русским
народом, ведущим все от Христа, воплощающим все будущее свое во Христе и во
Христовой истине и не могущим и предоставить себя без Христа. Либералы,
отрицатели, скептики, равно как и проповедники социальных идей, – все вдруг
оказываются горячими русскими патриотами, по крайней мере, в большинстве. Что ж,
они, стало быть, ими и были; но можем ли мы утверждать, что доселе мы про это
знали, и не раздавалось ли до сих пор, напротив, чрезвычайно много горьких
взаимных упреков, оказавшихся теперь во многом напрасными? Русских, истинных
русских, оказалось у нас вдруг несравненно более, чем полагали до сих пор
многие, тоже истинные русские. Что же соединило этих людей воедино или, вернее,
– что указало им, что они, во всем главном и существенном, и прежде не
разъединялись? Но в том-то и дело, что Славянская идея, в высшем смысле ее,
перестала быть лишь славянофильскою, а перешла вдруг, вследствие напора
обстоятельств, в самое сердце русского общества, высказалась отчетливо в общем
сознании, а в живом чувстве совпала с движением народным. Но что же такое эта
«Славянская идея в высшем смысле ее»? Всем стало ясно, что это такое: это,
прежде всего, то есть прежде всяких толкований исторических, политических и
проч., – есть жертва, потребность жертвы даже собою за братьев, и чувство
добровольного долга сильнейшему из славянских племен заступиться за слабого, с
тем, чтоб, уравнивая его с собою в свободе и политической независимости, тем самым
основать впрямь великое всеславянское единение во имя Христовой истины, то есть
на пользу, любовь и службу всему человечеству, на защиту всех слабых и

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r угнетенных в мире. И это вовсе не теория, напротив, в самом теперешнем движении русском, братском и бескорыстном, до сознательной готовности пожертвовать даже самыми важнейшими своими интересами, даже хотя бы миром с Европой, – это обозначилось уже как факт, а в дальнейшем – всеединение славян разве может произойти с иной целью, как на защиту слабых и на служение человечеству? Это уже потому так должно быть, что славянские племена, в большинстве своем, сами воспитались и развились лишь страданием. Мы вот написали выше, что удивимся, как русский народ не забыл, в крепостном рабстве, в невежестве и в угнетении, своего великого «Православного дела», своей великой православной обязанности, не озверел окончательно и не стал, напротив, мрачным замкнувшимся эгоистом, заботящимся лишь об одной собственной выгоде? Но, вероятно, таково именно свойство его, как славянина, то есть – подыматься духом в страдании, укрепляться политически в угнетении и, среди рабства и унижения, соединяться взаимно в любви и в Христовой истине.

Вот потому-то, что народ русский сам был угнетен и перенес многовековую крестную ношу, – потому-то он и не забыл своего «Православного дела» и страдающих братьев своих, и поднялся духом и сердцем, с совершенной готовностью помочь всячески угнетенным. Вот это-то и поняла высшая интеллигенция наша и всем сердцем своим примкнула к желанию народа, а примкнув, вдруг, всецело, ощутила себя в единении с ним. Движение, охватившее всех, было великодушное и гуманное. Всякая высшая и единящая мысль и всякое верное единящее всех чувство – есть величайшее счастье в жизни наций. Это счастье посетило нас. Мы не могли не ощутить всецело нашего умножившегося согласия, разъяснения многих прежних недоумений, усилившегося самосознания нашего. Обнаружилась вдруг, ясно сознаваемая обществом и народом, политическая мысль. Чуткая Европа тотчас же это разглядела и следит теперь за русским движением с чрезвычайным вниманием. Сознательная политическая мысль в нашем народе – для нее совершенная неожиданность. Она предчувствует нечто новое, с чем надо считаться; в ее уважении мы выросли. Самые слухи и толки о политическом и социальном разложении русского общества, как национальности, давно уже крепившиеся в Европе, несомненно должны получить теперь, в глазах ее, сильное опровержение: оказалось, что, когда надо, русские умеют и соединяться. Да и самые разлагающие силы наши, – буде она существованию таких продолжает верить, естественно должны теперь, в ее убеждении, принять сами собою другое направление и другой исход. Да, много взглядов с этой эпохи должно впредь измениться. Одним словом, это всеобщее и согласное русское движение свидетельствует уже и о зрелости национальной в некоторой значительной даже степени и не может не вызывать к себе уважения...

О «золотом мешке»

(Из «Дневника писателя». 1876 год)

...На нас находит новая гроза, наступает новая беда – «золотой мешок»! О, конечно, золотой мешок был и прежде: он всегда существовал в виде прежнего купца-миллионера; но никогда еще не возносился он на такое место и с таким значением, как в последнее наше время. Прежний купец наш, несмотря на ту роль, которую уже повсеместно играл в Европе миллион и капитал, – имел у нас, говоря сравнительно, довольно невысокое место в общественной иерархии. Надо правду сказать – он и не стоил большего. Оговорюсь вперед: я говорю лишь про богатых купцов; большинство же их, не развратившееся еще богатством, жило в виде типов Островского и, может быть, было очень многих не хуже, если только говорить сравнительно, а низшее и самое многочисленное купечество – так даже почти вполне совпадало с народом. Но чем более богател прежний купец, тем становился хуже. В сущности это был тот же мужик, но лишь развращенный. Прежние купцы-миллионеры разделялись на два разряда – на тех, которые продолжали носить бороду, несмотря на свой миллион, и в огромных собственных домах своих, несмотря на зеркала и паркетные полы, жили немного по-свински, и нравственно и физически. Самое еще лучшее, что в них было, – это их любовь к колоколам и к голосистым диаконам. Но, несмотря на эту любовь, они уже нравственно совсем разрывали с народом. Трудно представить себе что-нибудь менее сходящееся нравственно, как народ и иной миллионер-фабрикант. Овсянников, когда его везли недавно в Сибирь через Казань, вышвыривал, говорят, ногами подаянные копейки, которые ему наивно кидал народ в экипаж: это уже последняя степень нравственной разорванности с народом, полная потеря самого малейшего понимания народного смысла и духа. И никогда народ не бывал в такой кабале, как на фабриках у иных из этих господ!

Другой разряд миллионеров-купцов отличался прежде всего фраками и бритыми подбородками, великолепной европейской обстановкой домов их, воспитанием дочерей на французском и английском языках с форте пианами, нередко орденом за большие

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
пожертвования, нестерпимым чванством над всем, что его пониже, презрением к
обыкновенному «обеденному» генералу и в то же время самую низкую приниженность
перед высшим сановником, особенно если случилось, иногда бог знает какими
происками и стараниями, залучить такого к себе на бал или обед, разумеется, для
него же и устроенный. Эти старания дать обед особе обращались в программу жизни.
Это жаждалось: почти ведь для того и жил миллионер на свете. Само собою, что
этот прежний богач купец молился своему миллиону как богу: миллион был в глазах
его все, миллион вытасил его из ничтожества, дал ему все значение. В грубой душе
этого «развращенного мужика» (так как он продолжал быть им, несмотря на все свои
фраки) никогда не могло зародиться ни одной мысли и ни одного чувства, которые
хотя бы на мгновение возвысили его в сознании над собственным миллионом. Само
собою, несмотря на наружный лоск, вся семья такого купца выростала безо всякого
образования. Миллион не только не способствовал образованию, но, напротив, бывал
в этом случае главной причиной невежества: станет сын такого миллионщика учиться
в университете, когда и безо всякого ученья можно все получить, тем более что
все эти миллионщики, достигая миллиона, весьма часто заручались правами
дворянскими. Кроме разврата с самых юных лет и самых извращенных понятий о мире,
отечестве, чести, долге, богатство ничего не вносило в души этого юношества,
плотоядного и наглого. А извращенность мирозерцания была чудовищная, ибо надо
всем стояло убеждение, преобразившееся для него в аксиому: «Деньгами все куплю,
всякую почесть, всякую доблесть, всякого подкуплю и от всего откуплюсь». Трудно
представить сухость сердца юношей, возраставших в этих богатых домах. Из
чванства и чтобы не отстать от других, такой миллионер, пожалуй, и жертвовал
иногда огромные суммы на отечество, в случае, например, опасности (хотя случай
такой был лишь раз в двенадцатом году), – но жертвования он делал в виду
наград и всегда готов был, в каждую остальную минуту своего существования,
соединиться хоть с первым жидом, чтобы предать всех и все, если того требовал
его барыш; патриотизма, чувства гражданского почти не бывает в этих сердцах.

О, разумеется, я говорю про наш русский торговый миллион лишь в значении касты.
Исключения же бывают везде и всегда. Можно указать и у нас на купцов,
отличавшихся европейским образованием и доблестными гражданскими подвигами; но
из миллионеров их все-таки было крайне немного, даже все наперечет; каста не
теряет свой характер от исключений.

И вот, прежние рамки прежнего купца вдруг страшно раздвигаются в наше время. С
ним вдруг роднится европейский спекулянт, на Руси еще прежде неведомый, и
биржевой игрок. Современному купцу уже не надо залучать к себе на обед «особу» и
давать ей балы; он уже роднится и братается с особой на бирже, в акционерном
собрании, в устроенном вместе с особой банке; он уже теперь сам лицо, сам особа.
Главное, он вдруг увидел себя решительно на одном из самых высших мест в
обществе, на том самом, которое во всей Европе давно уже, и официально и
искренно, отведено миллиону, и – уж разумеется, не усумнился сам в себе, что он
и впрямь достоин этого места. Одним словом, он все более и более убеждается
теперь сам, от самого чистого сердца, что он-то и есть теперь «лучший» человек
на земле взамен даже всех бывших прежде него. Но грозящая беда не в том, что он
думает такие глупости, а в том, что и другие (и уже очень многие), кажется,
начинают точно так же думать. Мешок у страшного большинства несомненно считается
теперь за все лучшее. Против этого опасения, конечно, заспорят. Но ведь
фактическое теперешнее преклонение пред мешком у нас не только уже бесспорно,
но, по внезапным размерам своим, и беспримерно. Повторю еще: силу мешка понимали
все у нас и прежде, но никогда еще доселе в России не считали мешок за высшее,
что есть на земле. В официальной же рассортировке русских людей, прежний
купеческий мешок даже чиновника не мог пересечь в общественной иерархии. А
теперь даже и прежняя иерархия, без всякого даже принуждения со стороны, как
будто сама собою готова отодвинуться на второй план перед столь любезным и
прекрасным новым «условием» лучшего человека, «столь долго и столь ошибочно не
входившего в настоящие права свои». Теперешний биржевик нанимает для услуг своих
литераторов, около него увивается адвокат: «эта юная школа изворотливости ума и
засушения сердца, школа извращения всякого здравого чувства по мере надобности,
школа всевозможных посягновений, бесстрашных и безнаказанных, постоянно и
неустанно, по мере спроса и требования» – эта юная школа сильно уже попала в тон
современному биржевику и запела ему хвалебную песнь. О, не подумайте, что я
намекаю на «дело Струсберга» – адвокаты, провозгласившие в этом деле своих
«попавшихся» клиентов идеалами людей, пропевшие им гимн как «лучшим людям всей
Москвы» (именно в этом роде), – лишь дали маху.

Они показали, что сами-то они – не только люди без малейших серьезных убеждений,
Страница 47

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
но даже без всякой выдержки и без чувства меры, и если и играют у нас роли «европейских талантов», то единственно на безрыбье. В самом деле, они, как дипломаты, запросили сколь возможно больше, чтоб добиться наибольшего *minimuma*: «не только правы – святы!» Говорят, в публике раздалось даже однажды шиканье. Но адвокат прежде всего не дипломат; сравнение это не верно в самой сущности. Вернее, гораздо вернее было бы, указав на клиента, спросить по-евангельски: «Господа присяжные, кто из вас без греха?» О, я не против приговора говорю: приговор прав – и я преклоняюсь; он должен был быть произнесен хотя бы над одним только банком. Именно дело было такого характера, что осудить «общественною совестью» этот «попавшийся» несчастный московский ссудный банк – значило тут же осудить и все наши банки, и всю биржу, и всех биржевиков, хотя бы те еще не попались, да ведь не все ли равно? Кто без греха, без того же самого греха, ну-тка, по совести? Кто-то уж напечатал, что наказали их слабо. Оговорюсь, я не на Ляндау указываю: этот виноват действительно в чем-то необыкновенном, а я и разбирать-то этого не хочу, но Данила Шумахер, приговоренный «за мошенничество», ей-богу, наказан ужасно. Взглянем в сердца свои: многие ли из нас не сделали бы того же самого? Вслух не надо признаваться, а так про себя бы только это подумать. Но да здравствует юстиция, мы их все-таки упекли! «Вот, дескать, вам за наше биржевое и развращенное время, вот вам за то, что мы все эгоисты, за то, что мы таких подлых материальных понятий о счастье в жизни и о ее наслаждениях, за наше сухое и предательское чувство самосохранения!» Нет, осудить хоть один банк полезно за наши собственные грехи...

Но, боже, куда я забрался? Неужели и я пишу «о деле Струсберга»? Довольно, и поспешу сократить. Я ведь говорил про «лучшего человека» и хотел лишь вывести, что идеал настоящего лучшего человека, даже «натурального», сильно уже грозил у нас помутиться. Старое разбилось и износилось, новое еще летало в фантазиях, а в действительности и в очах наших появилось нечто отвратительное с неслыханным еще на Руси развитием. Обаяние, которое предано было этой новой силе, золотому мешку, начинало зарождать даже страх в иных сердцах, слишком мнительных, хотя бы за народ, например. О мы, верхнее общество, положим, хоть и могли бы соблазниться новым идолом, но все же не пропали бы бесследно: недаром двести лет сиял над нами светоч образования. Мы во всеоружии просвещения, мы можем отразить чудовище. В минуту самого грязного биржевого разврата упекли же мы вот хоть бы ссудный московский банк! Но народ, стомиллионный народ наш, эта «косная, развратная, бесчувственная масса» и в которую уже прорвался кол – что он противопоставит идущему на него чудовищу материализма в виде золотого мешка? Свою нужду, свои лохмотья, свои подати и неурожаи, свои пороки, сивуху, порку? Мы боялись, что он сразу падет перед вырастающим в силе золотым мешком и что не пройдет поколения, как закрепостится ему весь хуже прежнего. И не только силой подчинится ему, но и нравственно, всей своей волей. Мы именно боялись, что он-то и скажет прежде всех: «Вот где главное, вот она где сила, вот где покой, вот где счастье! Сему поклонюсь и за сим пойду». Вот чего можно было очень и очень опасаться, по крайней мере, на долгое время. Многие задумывались, – и вдруг...

Но что вдруг случилось нынешним летом, о том речь я оставляю до будущего «Дневника». Мне хочется поговорить об этом уже без «юмора», а от всего сердца и попроще. Что случилось нынешним летом, то – до того умирительно и радостно, что даже невероятно, потому что мы уже махали рукой на этот народ и признавали его грубо-некомпетентным сказать свое слово о том: каков должен быть русский «лучший человек». Мы думали, что весь организм этого народа уже заражен материальным и духовным развратом; мы думали, что народ уже забыл свои духовные начала, не уберег их в сердце своем; в нужде, в разврате потерял или исказил свои идеалы. И вдруг, вся эта «единообразная и косная масса» (то есть на взгляд иных наших умников, конечно), разлегшаяся в стомиллионном составе своем на многих тысячах верст, неслышно и бездыханно, в вечном зачатии и в вечном признанном бессилии что-нибудь сказать или сделать, в виде чего-то вечно стихийного и послушного, – вдруг вся эта Россия просыпается, встает и смиренно, но твердо выговаривает всенародно прекрасное свое слово... Мало того, русские люди берут свои посохи и идут сотенными толпами, провожаемые тысячами людей, в какой-то новый крестовый поход (именно так и называют уже это движение; это англичане первые сравнили это русское движение наше с крестовым походом) – в Сербию, за каких-то братьев, потому что прослышали, что те там замучены и угнетены. Отец, старик солдат, чем бы жить на спокойное, вдруг ополчается и идет пешком, спрашивая дорогу, за тысячи верст, подражаться с турком за брата, и с собою ведет девятилетнюю дочку (это факт): «дочку найдутся из христиан, что поберегут, пока я хожу», отвечает он на вопросы, «а уж я пойду, послужу делу божию». И идет... И такие примеры – тысячами! Ну, скажи кто заранее, еще зимой

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
например, что это у нас случится, и мы не поверили бы, – не поверили бы этому
«крестовому походу», въявь начавшемуся (но далеко еще не завершившемуся).

Даже и теперь, хоть и въявь видишь, но невольно спрашиваешь себя в иную минуту:
«Да как же оно могло случиться, как же могло совершиться такое неожиданное никем
дело?» Заявлено вслух землей русской все, что чтит она и чему верует, указано ею
то, что она считает «лучшим» и каких людей почитает «лучшими». Вот о том: какие
это люди и какие обозначились идеалы – я и отлагаю до следующего? «Дневника». В
сущности, эти идеалы, эти «лучшие люди» ясны и видны с первого взгляда: «лучший
человек» по представлению народному – это тот, который не преклонился перед
материальным соблазном, тот, который ищет неустанно работы на дело божие, любит
правду и, когда надо, встает служить ей, бросая дом и семью и жертвуя жизнью.
Мне именно хотелось бы вывести, почему мы, образованные, можем смело и твердо
теперь надеяться, что не только не утерян у нас на Руси образ «лучшего
человека», но, напротив, воссиял светлее, чем когда-нибудь, и податель его,
хранитель и носитель его, есть именно теперь простой народ русский, которого мы,
в просвещенном высокомерии нашем, а вместе и в простодушном неведении нашем,
считали столь «некомпетентным». Мне бы хотелось особенно вывести, каким образом
запросы и требования нашей «образованности» могли бы и теперь даже, в вопросе о
«лучшем человеке», сойтись вполне с указанием народным, несмотря даже на столь
явно наивные и простодушные формы, в которых народ «лучшего человека» указывает.
Важна не форма, а содержание ее (хотя и форма прекрасная). Содержание же
неоспоримо. Вот почему мы можем в радости предаться новой надежде: слишком
очистился горизонт наш, слишком ярко всходит новое солнце наше... И если б только
возможно было, чтоб мы все согласились и сошлись с народом в понимании: кого
отседе считать человеком «лучшим», то с нынешнего лета, может быть, зачался бы
новый период истории русской.

Решение на «злобу дня»

(Из «Дневника писателя». 1877 год)

Мои читатели, может быть, уже заметили, что я, вот уже с лишком год издавая свой
«Дневник писателя», стараюсь как можно меньше говорить о текущих явлениях
русской словесности, а если и позволяю себе кой-когда словцо и на эту тему, то
разве лишь в восторженно-хвалебном тоне. А между тем в этом добровольном
воздержании моем – какая неправда! Я – писатель, и пишу «Дневник писателя», – да
я, может быть, более чем кто-нибудь интересовался за весь этот год тем, что
появлялось в литературе: как же скрывать, может быть, самые сильные впечатления?
«Сам, дескать, литератор-беллетрист, а стало быть, всякое суждение твое о
беллетристической литературе, кроме безусловной похвалы, почтется пристрастным;
разве говорить лишь о давно прошедших явлениях» – вот соображение, меня
останавливавшее.

И все же я рискну на этот раз нарушить это соображение. Правда, в чисто
беллетристическом и критическом смысле я и не буду говорить ни о чем, а разве
лишь, в случае нужды, «по поводу». Повод вышел и теперь. Дело в том, что месяц
назад я попал на одну до того серьезную и характерную в текущей литературе вещь,
что прочел ее даже с удивлением, потому что давно уже ни на что подобное в таких
размерах не рассчитывал в беллетристике. У писателя – художника в высшей
степени, беллетриста по преимуществу, я прочел три-четыре страницы настоящей
«злобы дня», – все, что есть важнейшего в наших русских текущих политических и
социальных вопросах, и как бы собранное в одну точку. И главное, – со всем
характернейшим оттенком настоящей нашей минуты, именно так, как ставится у нас
этот вопрос в данный момент, ставится и оставляется неразрешенным... Я говорю про
несколько страниц в «Анне Карениной» графа Льва Толстого, в январском? «Русского
вестника».

Собственно обо всем этом романе скажу лишь полслова, и то лишь в виде самого
необходимого предисловия. Начал я читать его, как и все мы, очень давно. Сначала
мне очень понравилось; потом, хоть и продолжали нравиться подробности, так что
не мог оторваться от них, но в целом стало нравиться менее. Все казалось мне,
что я это где-то уже читал, и именно в «Детстве и отрочестве» того же графа
Толстого и в «Воине и мире» его же, и что там даже свежее было. Все та же
история барского русского семейства, хотя, конечно, сюжет не тот. Лица, как
Вронский например (один из героев романа), которые и говорить не могут между
собою иначе как об лошадях, и даже не в состоянии найти об чем говорить, кроме
как об лошадях, – были, конечно, любопытны, чтоб знать их тип, но очень
однообразны и сословны. Казалось, например, что любовь этого «жеребца в
мундире», как назвал его один мой приятель, могла быть изложена разве лишь в

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
ироническом тоне. Но когда автор стал вводить меня в внутренний мир своего героя серьезно, а не иронически, то мне показалось это даже скучным. И вот вдруг все предубеждения мои были разбиты. Явилась сцена смерти героини (потом она опять выздоровела) – и я понял всю существенную часть целей автора. В самом центре этой мелкой и наглой жизни появилась великая и вековая жизненная правда и разом все озарила. Эти мелкие, ничтожные и лживые люди стали вдруг истинными и правдивыми людьми, достойными имени человеческого, – единственно силою природного закона, закона смерти человеческой. Вся скорлупа их исчезла, и явилась одна их истина. Последние выросли в первых, а первые (Вронский) вдруг стали последними, потеряли весь ореол и унизились; но, унизившись, стали безмерно лучше, достойнее и истиннее, чем когда были первыми и высокими. Ненависть и ложь заговорили словами прощения и любви. Вместо тупых светских понятий явилось лишь человеколюбие. Все простили и оправдали друг друга. Сословность и исключительность вдруг исчезли и стали немыслимы, и эти люди из бумажки стали настоящими людьми! Виноватых не оказалось: все обвинили себя безусловно и тем тотчас же себя оправдали. Читатель почувствовал, что есть правда жизненная, самая реальная и самая неминуемая, в которую и надо верить, и что вся наша жизнь и все наши волнения, как самые мелкие и позорные, так равно и те, которые мы считаем часто за самые высшие, – все это чаще всего лишь самая мелкая фантастическая суэта, которая падает и исчезает перед моментом жизненной правды, даже и не защищаясь. Главное было в том указании, что момент этот есть в самом деле, хотя и редко является во всей своей озаряющей полноте, а в иной жизни так и никогда даже. Может, этот был отыскан и нам указан поэтом во всей своей страшной правде. Поэт доказал, что правда эта существует в самом деле, не на веру, не в идеале только, а неминуемо и необходимо и воочию. Кажется, именно это-то и хотел показать нам поэт, начиная свою поэму. Русскому читателю об этой вековой правде слишком надо было напомнить: многие стали у нас об ней забывать. Этим напоминанием автор сделал хороший поступок, не говоря уже о том, что выполнил его как необыкновенной высоты художник.

Затем опять потянулся роман, и вот, к некоторому удивлению моему, я встретил в шестой части романа сцену, отвечающую настоящей «злобе дня» и, главное, явившуюся не намеренно, не тенденциозно, а именно из самой художественной сущности романа. Тем не менее, повторяю это, для меня это было неожиданно и несколько меня удивило: такой «злобы дня» я все-таки не ожидал. Я почему-то не думал, что автор решится довести своих героев в их развитии до таких «столпов». Правда, в столпах этих, в этой крайности вывода и весь смысл действительности, а без того роман имел бы вид даже неопределенный, далеко не соответствующий ни текущим, ни существенным интересам русским: был бы нарисован какой-то уголок жизни, с намеренным игнорированием самого главного и самого тревожного в этой же жизни. Впрочем, я, кажется, пускаюсь решительно в критику, а это не мое дело. Я только хотел указать на одну сцену. Больше ничего как обозначились два лица с той именно стороны, с которой они наиболее для нас теперь могут быть характерны, и, тем самым, тот тип людей, к которому принадлежат эти два лица, поставлен автором на самую любопытнейшую точку в наших глазах в их современном социальном значении.

Оба они дворяне, родовые дворяне и коренные помещики, оба взяты после крестьянской реформы. Оба были «крепостными помещиками», и теперь вопрос: что остается от этих дворян, в смысле дворянском, после крестьянской реформы? Так как тип этих двух помещиков чрезвычайно общ и распространен, то вопрос отчасти и разрешен автором. Один из них Стива Облонский, эгоист, тонкий эпикуреец, житель Москвы и член Английского клуба. На этих людей обыкновенно смотрят как на невинных и милых жуиров, приятных эгоистов, никому не мешающих, остроумных, живущих в свое удовольствие. У этих людей бывает часто и многочисленное семейство; с женой и детьми они ласковы, но мало об них думают. Очень любят легких женщин, разряда, конечно, приличного. Образованны они мало, но любят изящное, искусства, и любят вести разговор обо всем. С крестьянской реформы этот дворянин тотчас же понял в чем дело: он сосчитал и сообразил, что у него все-таки еще что-нибудь да остается, а стало быть, меняться незачем и – *Arges moi le deluge* (После меня хоть потоп). Об судьбе жены и детей он заботится думать. Остатками состояния и связями он избавлен от судьбы червонного валета; но если б состояние его рушилось и нельзя бы было получать даром жалования, то, может быть, он и стал бы валетом, разумеется, употребив все усилия ума, нередко очень острого, чтоб стать валетом как можно приличнейшим и великосветским. В старину, конечно, для уплаты карточного долга или любовнице ему случалось отдавать людей в солдаты; но такие воспоминания никогда не смущали его, да и забыл он их вовсе. Хоть он и аристократ, но дворянство свое он всегда считал ни

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
во что, а по устранении крепостных отношений – так даже исчезнувшим: для него из людей остались лишь человек в случае, затем чиновник с известного чина, а затем богач. Железнодорожник и банкир стали силою, и он немедленно с ними затеял сношения и дружбу. Да и разговор начался с упрека ему Левиным, родственником его и помещиком (но уже совершенно обратного типа и живущим в своем поместье), за то, что он ездит к железнодорожникам, на их обеды и праздники, к людям двусмысленным, по убеждению Левина, вредным. Облонский опровергает его с едкостью. Да и вообще между ними, с тех пор как они породнились, установились довольно едкие отношения. Притом в наш век негодяй, опровергающий благородного, всегда сильнее, ибо имеет вид достоинства, почерпаемого в здравом смысле, а благородный, походя на идеалиста, имеет вид шута. Разговор происходит на охоте, в летнюю ночь. Охотники на ночлеге, в крестьянской риге, и ночуют на сене. Облонский доказывает, что презрение к железнодорожникам, к их интригам, к их скорой наживе, вымалыванью концессий, перепродажам – не имеет смысла, что это такие же люди, действуют трудом и умом, как и все, а в результате – дают дорогу.

– Но всякое приобретение, не соответствующее положенному труду, – не честно, – говорит Левин.

– Да кто ж определит соответствие? – продолжает Облонский. – Ты не определил черты между честным и бесчестным трудом. То, что я получаю жалованья больше, чем мой столоначальник, хотя он лучше меня знает дело, – это бесчестно?

– Я не знаю. – Ну, так я тебе скажу: то, что ты получаешь за свой труд в хозяйстве лишних, положим, пять тысяч, а этот мужик, как бы он ни трудился, не получит больше пятидесяти рублей,

точно так же бесчестно, как то, что я получаю больше столоначальника...

– Нет, позволь, – продолжает Левин. – Ты говоришь, что несправедливо, что я получу пять тысяч, а мужик пятьдесят рублей: это правда. Это несправедливо, и я чувствую это, но...

– Да, ты чувствуешь, но ты не отдаешь ему своего имения, – сказал Степан Аркадьевич, как будто нарочно задиравший Левина...

– Я не отдаю, потому что никто этого от меня не требует, и если б я хотел, то мне нельзя отдать... и некому.

– Отдай этому мужику, он не откажется. – Да, но как же я отдам ему? Поеду с ним и совершу купчую?

– Я не знаю, но если ты убежден, что ты не имеешь права... – Я вовсе не убежден. Я, напротив, чувствую, что не имею права отдать, что у меня есть обязанности и к земле и к семье.

– Нет, позволь; но если ты считаешь, что это неравенство несправедливо, то почему же ты не действуешь так...

– Я и действую, только отрицательно, в том смысле, что я не буду стараться увеличить ту разницу положения, которая существует между мною и им.

– Нет, уж извини меня, это парадокс... Так-то, мой друг. Надо одно из двух: или признавать, что настоящее устройство общества справедливо, тогда отстаивать свои права, или признаваться, что пользуешься несправедливыми преимуществами, как я и делаю, и пользоваться ими с удовольствием.

– Нет, если б это было несправедливо, ты бы не мог пользоваться этими благами с удовольствием, по крайней мере, я не мог бы, мне, главное, надо чувствовать, что я не виноват.

Вот разговор. И уж согласитесь, что это «злоба дня», даже все что есть наизлобнейшего в нашей злобе дня. И сколько самых характерных, чисто русских черт! Во-первых, лет сорок назад все эти мысли и в Европе-то едва начинались, многим ли и там были известны Сен-Симон и Фурье – первоначальные «идеальные» толковники этих идей, а у нас – у нас знали тогда о начинавшемся этом новом движении на Западе Европы лишь полсотни людей в целой России. И вдруг теперь толкуют об этих «вопросах» помещики на охоте, на ночлеге в крестьянской риге, и

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r толкуют характернейшим и компетентнейшим образом, так что по крайней мере отрицательная сторона вопроса уже решена и подписана ими бесповоротно. Правда, это помещики высшего света, говорят в Английском клубе, читают газеты, следят за процессами и из газет и из других источников; тем не менее уж один факт, что такая идеальнейшая дребедень признается самой насущной темой для разговора у людей далеко не из профессоров и не специалистов, а просто светских, Облонских и Левиных, – эта черта, говорю я, одна из самых характерных особенностей настоящего русского положения умов. Вторая характернейшая черта в этом разговоре, отмеченная художником-автором, это та, что решает насчет справедливости этих новых идей такой человек, который за них, то есть за счастье пролетария, бедняка, не даст сам ни гроша, напротив, при случае сам оберет его как липку. Но с легким сердцем и с веселостью каламбуриста он разом подписывает крах всей истории человечества и объявляет настоящий строй его верхом абсурда. «Я, дескать, с этим совершенно согласен». Заметьте, что вот эти-то Стивы всегда со всем этим первые согласны. Одной чертой он осудил весь христианский порядок, личность, семейство, – о, это ему ничего не стоит.

Заметьте тоже, что у нас нет науки, но эти господа, с полным бесстыдством создавая, что у них нет науки и что они начали говорить об этом всего лишь вчера и с чужого голоса, решают, однако же, такого размера вопросы без всякого колебания. Но тут третья характернейшая черта: этот господин прямо говорит:

«Надо одно из двух: или признавать, что настоящее устройство общества справедливо, тогда отстаивать свои права, или признаваться, что пользуемся несправедливыми преимуществами, как я и делаю, и пользоваться ими с удовольствием». То есть в сущности он, подписав приговор всей России и осудив ее, равно как своей семье, будущности детей своих, прямо объявляет, что это до него не касается: «Я, дескать, сознаю, что я подлец, но останусь подлецом в свое удовольствие. «*Après moi le deluge*». Это потому он так спокоен, что у него еще есть состояние, но случись, что он его потеряет, – почему же ему не стать валетом, – самая прямая дорога. Итак, вот этот гражданин, вот этот семьянин, вот этот русский человек – какая характернейшая чисто русская черта! Вы скажете, что он все-таки исключение. Какое исключение и может ли это быть? Припомните, сколько цинизма увидели мы в эти последние двадцать лет, какую легкость оборотов и переворотов, какое отсутствие всяких коренных убеждений и какую быстроту усвоения первых встречных с тем, конечно, чтоб завтра же их опять продать за два гроша. Никакого нравственного фонда, кроме *après moi le deluge* (после меня потоп).

Но всего любопытнее то, что рядом с этим, многочисленнейшим и владычествующим типом, стоит другой, – другой тип русского дворянина и помещика и уже обратно противоположный тому, – все что есть противоположного. Это Левин, но Левиных в России – тьма, почти столько же, сколько и Облонских. Я не про лицо его говорю, не про фигуру, которую создал ему в романе художник, я говорю лишь про одну черту его сути, но зато самую существенную, и утверждаю, что черта эта до удивления страшно распространена у нас, то есть среди нашего-то цинизма и калмыцкого отношения к делу. Черта эта с некоторого времени заявляет себя поминутно; люди этой черты судорожно, почти болезненно стремятся получить ответы на свои вопросы, они твердо надеются, страстно веруют, хотя и ничего почти еще разрешить не умеют. Черта эта выражается совершенно в ответе Левина Стиве: «Нет, если бы это было несправедливо, ты бы не мог пользоваться этими благами с удовольствием, по крайней мере я не мог бы, мне, главное, надо чувствовать, что я не виноват».

А.Г. Снеткина – жена Ф.М. Достоевского

И он в самом деле не успокоится, пока не разрешит: виноват он или не виноват? И знаете ли, до какой степени не успокоится? Он дойдет до последних столпов, и если надо, если только надо, если только он докажет себе, что это надо, то в противоположность Стиве, который говорит: «Хоть и негодяем, да продолжаю жить в свое удовольствие», – он обратится в «Власа», в «Власа» Некрасова, который роздал свое имение в припадке великого умиления и страха – «И собирать на построение Храма Божьего пошел».

И если не на построение храма пойдет собирать, то сделает что-нибудь в этих же

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
размерах и с такою же ревностью. Заметьте, опять повторяю и спешу повторить, черту: это множество, чрезвычайное современное множество этих новых людей, этого нового корня русских людей, которым нужна правда, одна правда без условной лжи, и которые, чтоб достигнуть этой правды, отдадут все решительно. Эти люди тоже объявились в последние двадцать лет и объявляются все больше и больше, хотя их и прежде, и всегда, и до Петра еще можно было предчувствовать. Это наступающая будущая Россия честных людей, которым нужна лишь одна правда. О, в них большая и нетерпимость: по неопытности они отвергают всякие условия, всякие разъяснения даже. Но я только то хочу заявить изо всей силы, что их влечет истинное чувство. Характернейшая черта еще в том, что они ужасно не спелись и пока принадлежат ко всевозможным разрядам и убеждениям: тут и аристократы и пролетарии, и духовные и неверующие, и богачи и бедные, и ученые и неучи, и старики и девочки, и славянофилы и западники. Разлад в убеждениях непомерный, но стремление к честности и правде неколебимое и нерушимое, и за слово истины всякий из них отдаст жизнь свою и все свои преимущества, говорю – обратится в Власа. Закричат, пожалуй, что это дикая фантазия, что нет у нас столько честности и искания честности. Я именно провозглашаю, что есть, рядом с страшным развратом, что я вижу и предчувствую этих грядущих людей, которым принадлежит будущность России, что их нельзя уже не видеть и что художник, сопоставивший этого отжившего циника Стиву с своим новым человеком Левиным, как бы сопоставил это отпетое, развратное, страшно многочисленное, но уже покончившее с собой собственным приговором общество русское, с обществом новой правды, которое не может вынести в сердце своем убеждения, что оно виновато, и отдаст все, чтоб очистить сердце свое от вины своей. Замечательно тут то, что действительно наше общество делится почти что только на эти два разряда, – до того они обширны и до того они всецело обнимают собою русскую жизнь, – разумеется, если откинуть массу совершенно ленивых, бездарных и равнодушных. Но самая характернейшая, самая русская черта этой «злобы дня», указанной автором, состоит в том, что его новый человек, его Левин, не умеет решить смутивший его вопрос. То есть он уже и решил его почти, в сердце своем, и не в свою пользу, подозревая, что он виноват, но что-то твердое, прямое и реальное восстает из всей его природы и удерживает его пока от последнего приговора.

Напротив, Стива, которому все равно, виноват он или нет, – решает без малейшего колебания, это ему даже на руку: «Коли все нелепо и ничего святого не существует, стало быть, можно все делать, а с меня еще времени хватит, не сейчас ведь придет страшный суд». Любопытно еще то, что именно самая слабая сторона вопроса и смутила Левина и поставила его в тупик, и это чисто по-русски и совершенно верно отмечено автором: все дело в том, что все эти мысли и вопросы у нас в России – одна лишь теория, все к нам занесенные с чужого строя и с чужого порядка вещей, из Европы, где они имеют давно уже свою историческую и практическую сторону. Что ж делать: оба наши дворянина – европейцы, и от европейского авторитета освободиться им нелегко, надо и тут отдать дань Европе. И вот Левин, русское сердце, смешивает чисто русское и единственно возможное решение вопроса с европейской его постановкой. Он смешивает христианское решение с историческим «правом». Представим, для ясности, себе такую картинку:

Стоит Левин, стоит, задумавшись после ночного разговора своего на охоте с Стивой, и мучительно, как честная душа, желает разрешить смутивший и уже прежде, стало быть, смущавший его вопрос.

– Да, – думает он, полурешая, – да, если по-настоящему, то за что мы, как сказал давеча Весловский, «едим, пьем, охотимся, ничего не делаем, а бедный вечно, вечно в труде»? Да, Стива прав, я должен разделить мое имение бедным и пойти работать на них.

Стоит подле Левина «бедный» и говорит: – Да, ты действительно должен и обязан отдать свое имение нам, бедным, и пойти работать на нас.

Левин выйдет совершенно прав, а «бедный» совершенно неправ, разумеется, решая дело, так сказать, в высшем смысле. Но в том-то и вся разница постановки вопроса. Ибо нравственное решение его нельзя смешивать с историческим; не то – безысходная путаница, которая и теперь продолжается, особенно в теоретических русских головах – и в головах негодяев Стив и в головах чистых сердцем Левиных. В Европе жизнь и практика уже поставили вопрос – хоть и абсурдно в идеале его исхода, но все же реально в его текущем ходе, и уже не смешивая двух разнородных взглядов, нравственного и исторического, по крайней мере, по возможности. Разъясним нашу мысль еще, хоть двумя словами.

В Европе был феодализм и были рыцари. Но в тысячу с лишком лет усилилась буржуазия и наконец задала повсеместно битву, разбила и согнала рыцарей и – стала сама на их место. Исполнилась в лицах поговорка: «ôte-toi de là que je m'y mette» (Убирайся, а я на твоё место). Но став на место своих прежних господ и завладев собственностью, буржуазия совершенно обошла народ, пролетария, и, не признав его за брата, обратила его в рабочую силу, для своего благосостояния, из-за куска хлеба. Наш русский Стива решает про себя, что он неправ, но сознательно хочет оставаться негодяем, потому что ему жирно и хорошо; заграничный Стива с нашим не согласен и признает себя совершенно правым, и, уж конечно, он в этом по-своему логичнее, ибо, по его мнению, тут вовсе и нет никакого права, а есть только история, исторический ход вещей. Он стал на место рыцаря, потому что победил рыцаря силой, и он отлично хорошо понимает, что пролетарий, бывший во время борьбы его с рыцарем еще ничтожным и слабым, очень может усилиться и даже усиливается с каждым днем. Он отлично предчувствует, что когда тот совсем усилится, то скovyрнет его с места, как он когда-то рыцаря, и точь-в-точь так же скажет ему: «Убирайся, а я на твоё место». Где же тут право, тут одна история. О, он бы готов был на компромисс, как-нибудь поладить с врагом, и даже пробовал. Но так как он отлично догадался, да и на опыте знает, что враг ни за что не располужен мириться, делиться не хочет, а хочет всего; кроме того: что если он и уступит что, то только себя ослабит, – то и решил не уступать ничего и – готовиться к битве. Положение его, может быть, безнадежно, но по свойству человеческой природы укрепляться духом перед борьбою, – он не отчаивается, напротив, укрепляется на бой все более и более, пускает все средства в ход, изо всей силы, пока сила есть; ослабляет противника и пока только это и делает.

Вот на какой точке это дело теперь в Европе. Правда, прежде, недавно даже, была и там нравственная постановка вопроса, были фурьеристы и кабетисты, были опросы, споры и дебаты об разных весьма тонких вещах. Но теперь предводители пролетария все это до времени устранили. Они прямо хотят задать битву, организуют армию, собирают ее в ассоциации, устраивают кассы и уверены в победе: «А там, после победы, все само собою устроится практически, хотя, очень может быть, что после рек пролитой крови». Буржуа понимает, что предводители пролетариев прельщают их просто грабежом и что в таком случае нравственную сторону дела и ставить не стоит. И однако, между и теперешними даже предводителями случаются такие коноводы, которые проповедуют и нравственное право бедных. Высшие предводители допускают этих коноводов собственно для красоты, чтоб скрасить дело, придать ему вид высшей справедливости. Из этих «нравственных» коноводов есть много интриганов, но много и пламенно верующих. Они прямо объявляют, что для себя ничего не хотят, а работают лишь для человечества, хотят добиться нового строя вещей для счастья человечества. Но тут их ждет буржуа на довольно твердой почве и им прямо ставит на вид, что они хотят заставить его стать братом пролетарию и поделить с ним имение – палкой и кровью. Несмотря на то, что это довольно похоже на правду, коноводы отвечают им, что они вовсе не считают их, буржуазию, способными стать братьями народу, а потому-то и идут на них просто силой, из братства их исключают вовсе:

«Братство-де образуется потом, из пролетариев, а вы – вы сто миллионов обреченных к истреблению голов, и только. С вами покончено, для счастья человечества». Другие из коноводов прямо уже говорят, что братства никакого им и не надо, что христианство – бредни и что будущее человечество устроится на основаниях научных. Все это, конечно, не может поколебать и убедить буржуа. Он понимает и возражает, что это общество, на основаниях научных, чистая фантазия, что они представили себе человека совсем иным, чем устроила его природа; что человеку трудно и невозможно отказаться от безусловного права собственности, от семейства и от свободы; что от будущего своего человека они слишком много требуют пожертвований, как от личности; что устроить так человека можно только страшным насилием и поставив над ним страшное шпионство и непрерывный контроль самой деспотической власти. В заключение они вызывают указать ту силу, которая бы смогла соединить будущего человека в согласное общество, а не в насильственное. На это коноводы выставляют пользу и необходимость, которую сознает сам человек, и что сам он, чтоб спасти себя от разрушения и смерти, согласится добровольно сделать все требуемые уступки. Им возражают, что польза и самосохранение никогда одни не в силах породить полного и согласного единения, что никакая польза не заменит своеволия и прав личности, что эти силы и мотивы слишком слабы и что все это, стало быть, по-прежнему гадательно. Что если бы они действовали только нравственной стороной дела, то пролетарий и слушать бы их не

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r стал, а если идет за ними теперь и организуется в битву, то единственно потому, что прельщен обещанным грабежом и взволнован перспективою разрушения и битвы. А стало быть, в конце концов, нравственную сторону вопроса надобно совсем устранить, потому что она не выдерживает ни малейшей критики, а надо просто готовиться к бою.

Вот европейская постановка дела. И та и другая сторона страшно не правы, и та и другая погибнут во грехах своих. Повторяем, всего тяжелее для нас, русских, то, что у нас даже Левины над этими же самыми вопросами задумываются, тогда как единственно возможное разрешение вопроса, и именно русское, и не только для русских, но и для всего человечества, – есть постановка вопроса нравственная, то есть христианская.

В Европе она немыслима, хотя и там, рано ли, поздно ли, после рек крови и ста миллионов голов, должны же будут признать ее, ибо в ней только одной и исход.

Если вы почувствовали, что вам тяжело «есть, пить, ничего не делать и ездить на охоту», и если вы действительно это почувствовали и действительно так вам жаль «бедных», которых так много, то отдайте им свое имение, если хотите, пожертвуйте на общую пользу и идите работать на всех и «получите сокровище на небеси, там, где не копят и не посягают». Пойдите, как Влас, у которого «сила вся души великая в дело божие ушла».

И если не хотите собирать, как Влас, на храм божий, то заботьтесь о просвещении души этого бедняка, светите ему, учите его. Если б и все роздали, как вы, свое имение «бедным», то разделенные на всех, все богатства богатых мира сего были бы лишь каплей в море. А потому надобно заботиться больше о свете, о науке и о усилении любви. Тогда богатство будет расти в самом деле, и богатство настоящее, потому что оно не в золотых платьях заключается, а в радости общего соединения и в твердой надежде каждого на всеобщую помощь в несчастье, ему и детям его. И не говорите, что вы лишь слабая единица и что если вы один раздадите имение и пойдете служить, то ничего этим не сделаете и не поправите. Напротив, если даже только несколько будет таких как вы, так и тогда двинется дело. Да в сущности и не надо даже раздавать непременно имения, – ибо всякая непоколебимость тут, в деле любви, похожа будет на мундир, на рубрику, на букву. Убеждение, что исполнил букву, ведет только к гордости, к формалистике и к лени. Надо делать только то, что велит сердце: велит отдать имение – отдайте, велит идти работать на всех – идите, но и тут не делайте так, как иные мечтатели, которые прямо берутся за тачку: «Дескать, я не барин, я хочу работать как мужик». Тачка опять-таки мундир.

Напротив, если чувствуете, что будете полезны всем как ученый, идите в университет и оставьте себе на то средства. Не раздача имения обязательна и не надевание зипуна: все это лишь буква и формальность; обязательна и важна лишь решимость ваша делать все ради деятельной любви, все что возможно вам, что сами искренно признаете для себя возможным. Все же эти старания «опроститься» – лишь одно только переряживание, невежливое даже к народу и вас унижающее. Вы слишком «сложны», чтоб опроститься, да и образование ваше не позволит вам стать мужиком. Лучше мужика вознесите до вашей «осложненности». Будьте только искренни и простодушны; это лучше всякого «опрощения». Но пуще всего не запугивайте себя сами, не говорите: «Один в поле не воин» и проч. Всякий, кто искренно захотел истины, тот уже страшно силен. Не подражайте тоже некоторым фразерам, которые говорят поминутно, чтобы их «слышали»: «Не дают ничего делать, связывают руки, вселяют в душу отчаяние и разочарование!» и проч. и проч. Все это фразеры и герои поэм дурного

тона, рисующиеся собою лентяи. Кто хочет приносить пользу, тот и с буквально связанными руками может сделать бездну добра. Истинный делатель, вступив на путь, сразу увидит перед собою столько дела, что не станет жаловаться, что ему не дают делать, а непременно отыщет и успеет хоть что-нибудь сделать. Все настоящие делатели про это знают. У нас одно изучение России сколько времени возьмет, потому что ведь у нас лишь редчайший человек знает нашу Россию. Жалобы на разочарование совершенно глупы: радость на воздвигающееся здание должна утолить всякую душу и всякую жажду, хотя бы вы только по песчинке приносили пока на здание. Одна награда вам – любовь, если заслужите ее. Положим, вам не надо награды, но ведь вы делаете дело любви, а стало быть, нельзя же вам не домогаться любви. Но пусть никто и не скажет вам, что вы и без любви должны были сделать все это, из собственной, так сказать, пользы, и что иначе вас бы

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
заставили силой. Нет, у нас в России надо насаждать другие убеждения, и особенно относительно понятий о свободе, равенстве и братстве. В нынешнем образе мира полагают свободу в разнузданности, тогда как настоящая свобода – лишь в одолении себя и воли своей, так чтобы под конец достигнуть такого нравственного состояния, чтоб всегда во всякий момент быть самому себе настоящим хозяином. А разнузданность желаний ведет лишь к рабству вашему. Вот почему чуть-чуть не весь нынешний мир полагает свободу в денежном обеспечении и в законах, гарантирующих денежное обеспечение: «Есть деньги, стало быть, могу делать все, что угодно; есть деньги – стало быть, не погибну и не пойду просить помощи, а не просить ни у кого помощи есть высшая свобода». А между тем это в сущности не свобода, а опять-таки рабство, рабство от денег. Напротив, самая высшая свобода – не копить и не обеспечивать себя деньгами, а «разделить всем, что имеешь, и пойти всем служить». Если способен на то человек, если способен одолеть себя до такой степени, – то он ли после того не свободен? Это уже высочайшее проявление воли! Затем, что такое в нынешнем образованном мире равенство? Ревнивое наблюдение друг за другом, чванство и зависть: «Он умен, он Шекспир, он тщеславится своим талантом; унижить его, истребить его». Между тем настоящее равенство говорит: «Какое мне дело, что ты талантливее меня, умнее меня, красивее меня? Напротив, я этому радуюсь, потому что люблю тебя. Но хоть я и ничтожнее тебя, но как человека я уважаю себя, и ты знаешь это, и сам уважаешь меня, а твоим уважением я счастлив. Если ты, по твоим способностям, приносишь в сто раз больше пользы мне и всем, чем я тебе, то я за это благословляю тебя, дивлюсь тебе и благодарю тебя, и вовсе не ставлю моего удивления к тебе себе в стыд; напротив, счастлив тем, что тебе благодарен, и если работаю на тебя и на всех, по мере моих слабых способностей, то вовсе не для того, чтоб сквитаться с тобой, а потому, что люблю вас всех».

Если так будут говорить все люди, то, уж конечно, они станут и братьями, и не из одной только экономической пользы, а от полноты радостной жизни, от полноты любви.

Скажут, что это фантазия, что это «русское решение вопроса» – есть «царство небесное» и возможно разве лишь в царстве небесном. Да, Стивы очень рассердились бы, если б наступило царство небесное. Но надобно взять уже то одно, что в этой фантазии «русского решения вопроса» несравненно менее фантастического и несравненно более вероятного, чем в европейском решении. Таких людей, то есть «Власов», мы уже видели и видим у нас во всех сословиях, и даже довольно часто; тамошнего же «будущего человека» мы еще нигде не видели, и сам он обещал прийти, перейдя лишь реки крови. Вы скажете, что единицы и десятки ничему не помогут, а надобно добиться известных всеобщих порядков и принципов. Но если б даже и существовали такие порядки и принципы, чтобы безошибочно устроить общество, и если б даже и можно было их добиться прежде практики, так, а priori, из одних мечтаний сердца и «научных» цифр, взятых притом из прежнего строя общества, – то с не готовыми, с не выделанными к тому людьми никакие правила не удержатся и не осуществляются, а, напротив, станут лишь в тягость. Я же безгранично верую в наших будущих и уже начинающих людей, вот об которых я уже говорил выше, что они пока еще не спелись, что они страшно как разбиты на кучки и лагеря в своих убеждениях, но зато все ищут правды прежде всего, и если б только узнали, где она, то для достижения ее готовы пожертвовать всем, и даже жизнью. Поверьте, что если они вступят на путь истинный, найдут его наконец, то увлекут за собою и всех, и не насильем, а свободно. Вот что уже могут сделать единицы на первый случай. И вот тот плуг, которым можно поднять нашу «Новь». Прежде чем проповедовать людям: «как им быть», – покажите это на себе. Исполните на себе сами, и все за вами пойдут. Что тут утопического, что тут невозможного – не понимаю! Правда, мы очень развратны, очень малодушны, а потому не верим и смеемся. Но теперь почти не в нас и дело, а в грядущих. Народ чист сердцем, но ему нужно образование. Но чистые сердцем поднимаются и в нашей среде – и вот что самое важное! Вот этому надо поверить прежде всего, это надобно уметь разглядеть. А чистым сердцем один совет: самообладание и самоодоление прежде всякого первого шага. Исполни сам на себе прежде, чем других заставляешь, – вот в чем вся тайна первого шага.

«Еврейский вопрос»

(Из «Дневника писателя. 1877 год»)

О, не думайте, что я действительно затеваю поднять «еврейский вопрос»! Я написал это заглавие в шутку. Поднять такой величины вопрос, как положение еврея в России и о положении России, имеющей в числе сынов своих три миллиона евреев, – я не в силах.

Вопрос этот не в моих размерах. Но некоторое суждение мое я все же могу иметь, и вот выходит, что суждением моим некоторые из евреев стали вдруг интересоваться. С некоторого времени я стал получать от них письма, и они серьезно и с горечью упрекают меня за то, что я на них «нападаю», что я «ненавижу жида», ненавижу не за пороки его, «не как эксплуататора», а именно как племя, то есть вроде того, что: «Иуда, дескать, Христа продал». Пишут это «образованные» евреи, то есть из таких, которые (я заметил это, но отнюдь не обобщаю мою заметку, оговариваюсь заранее) – которые всегда как бы постараются дать вам знать, что они, при своем образовании, давно уже не разделяют «предрасудков» своей нации, своих религиозных обрядов не исполняют, как прочие мелкие евреи, считают это ниже своего просвещения, да и в бога, дескать, не веруем. Замечу в скобках и кстати, что всем этим господам из «высших евреев», которые так стоят за свою нацию, слишком даже грешно забывать своего, сорокавекового Иегову и отступаться от него. И это далеко не из одного только чувства национальности грешно, а и из других, весьма высокого размера причин. Да и странное дело: еврей без бога как-то невыносим; еврея без бога и представить нельзя. Но тема эта из обширных, мы ее пока оставим. Всего удивительнее мне то: как это и откуда я попал в ненавистники еврея как народа, как нации? Как эксплуататора и за некоторые пороки мне осуждать еврея отчасти дозволяется самими же этими господами, но – но лишь на словах: на деле трудно найти что-нибудь раздражительнее и щепетильнее образованного еврея и обидчивее его, как еврея. Но опять-таки: когда и чем заявил я ненависть к еврею как к народу? Так как в сердце моем этой ненависти не было никогда, и те из евреев, которые знакомы со мной и были в сношениях со мной, это знают, то я, с самого начала и прежде всякого слова, с себя это обвинение снимаю, раз навсегда, с тем, чтоб уж потом об этом и не упоминать особенно. Уж не потому ли обвиняют меня в «ненависти», что я называю иногда еврея «жидом»? Но, во-первых, я не думал, чтоб это было так обидно, а во-вторых, слово «жид», сколько помню, я упоминал всегда для обозначения известной идеи: «жид, жидовщина, жидовское царство» и проч. Тут обозначалось известное понятие, направление, характеристика века. Можно спорить об этой идее, не соглашаться с нею, но не обижаться словом. Выпишу одно место из письма одного весьма образованного еврея, написавшего мне длинное и прекрасное во многих отношениях письмо, весьма меня заинтересовавшее. Это одно из самых характерных обвинений меня в ненависти к еврею как к народу. Само собою разумеется, что имя г-на NN, мне писавшего это письмо, останется под самым строгим анонимом.

«...Но я намерен затронуть один предмет, который я решительно не могу себе объяснить. Это ваша ненависть к “жиду”, которая проявляется почти в каждом выпуске вашего “Дневника”».

Я бы хотел знать, почему вы восстаете против жида, а не против эксплуататора вообще, я не меньше вашего терпеть не могу предрасудков моей нации, – я немало от них страдал, – но никогда не соглашусь, что в крови этой нации живет бессовестная эксплуатация.

Неужели вы не можете подняться до основного закона всякой социальной жизни, что все без исключения граждане одного государства, если они только несут на себе все повинности, необходимые для существования государства, должны пользоваться всеми правами и выгодами его существования и что для отступников от закона, для вредных членов общества должна существовать одна и та же мера взыскания, общая для всех?.. Почему же все евреи должны быть ограничены в правах и почему для них должны существовать специальные карательные законы? Чем эксплуатация чужестранцев (евреи ведь все-таки русские подданные): немцев, англичан, греков, которых в России такая пропасть, лучше жидовской эксплуатации? Чем русский православный кулак, мироед, целовальник, кровопийца, которых так много расплодилось во всей России, лучше таковых из жидов, которые все-таки действуют в ограниченном кругу? Чем такой-то лучше такого-то...

(Здесь почтенный корреспондент сопоставляет несколько известных русских кулаков с еврейскими в том смысле, что русские не уступят. Но что же это доказывает? Ведь мы нашими кулаками не хвалимся, не выставляем их как примеры подражания и, напротив, в высшей степени соглашаемся, что и те и другие нехороши.)

Таких вопросов я бы мог вам задавать тысячами. Между тем вы, говоря о “жиде”, включаете в это понятие всю страшную нищую массу трехмиллионного еврейского населения в России, из которых два миллиона 900 000, по крайней мере, ведет отчаянную борьбу за жалкое существование, нравственно чище не только других

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r народностей, но и обоготворяемого вами русского народа. В это название вы включаете и ту почтенную цифру евреев, получивших высшее образование, отличающихся на всех поприщах государственной жизни, берите хоть...»

(Тут опять несколько имен, которых я, кроме Гольдштейнова, считаю не вправе напечатать, потому что некоторым из них, может быть, неприятно будет прочесть, что они происходят из евреев.)

«...Гольдштейна (геройски умершего в Сербии за славянскую идею) и работающих на пользу общества и человечества? Ваша ненависть к “жиду” простирается даже на Дизраэли... который, вероятно, сам не знает, что его предки были когда-то испанскими евреями, и который, уж конечно, не руководит английской консервативной политикой с точки зрения “жида” (?)...»

Нет, к сожалению, вы не знаете ни еврейского народа, ни его жизни, ни его духа, ни его сорокавековой истории, наконец. К сожалению, потому, что вы, во всяком случае, человек искренний, абсолютно честный, а наносите бессознательно вред громадной массе нищенствующего народа, – сильные же “жиды”, принимая сильных мира сего в своих салонах, конечно, не боятся ни печати, ни даже бессильного гнева эксплуатируемых. Но довольно об этом предмете! Вряд ли я вас убежду в моем взгляде, – но мне крайне желательно было бы, чтобы вы убедили меня».

Вот этот отрывок. Прежде чем отвечу что-нибудь (ибо не хочу нести на себе такое тяжелое обвинение), – обращаю внимание на ярость нападения и на степень обидчивости. Положительно у меня, во весь год издания «Дневника», не было таких размеров статьи против «жида», которая бы могла вызвать такой силы нападение. Во-вторых, нельзя не заметить, что почтенный корреспондент, коснувшись в этих немногих строках своих и до русского народа, не утерпел и не выдержал и отнесся к бедному русскому народу несколько слишком уж свысока. Правда, в России и от русских-то не осталось ни одного непропленного места (словечко Щедрина), а еврею тем «простительнее». Но во всяком случае ожесточение это свидетельствует ярко о том, как сами евреи смотрят на русских. Писал это действительно человек образованный и талантливый (не думаю только, чтоб без предрассудков); чего же ждать, после того, от необразованного еврея, которых так много, каких чувств к русскому? Я не в обвинение это говорю: все это естественно; я только хочу указать, что в мотивах нашего разъединения с евреем виновен, может быть, и не один русский народ и что скопились эти мотивы, конечно, с обеих сторон, и еще неизвестно, на какой стороне в большей степени. Отметив это, выскажу несколько слов в мое оправдание и вообще как я смотрю на это дело. И хоть вопрос этот, повторяю, мне и не по силам, но что же нибудь ведь и я могу выразить.

Положим, очень трудно узнать сорокавековую историю такого народа, как евреи; но на первый случай я уже то одно знаю, что наверно нет в целом мире другого народа, который бы столько жаловался на судьбу свою, поминутно, за каждым шагом и словом своим, на свое принижение, на свое страдание, на свое мученичество. Подумаешь, не они царят в Европе, не они управляют там биржами хотя бы только, а стало быть, политикой, внутренними делами, нравственностью государств. Пусть благородный Гольдштейн умирает за славянскую идею. Но все-таки, не будь так сильна еврейская идея в мире, и, может быть, тот же самый «славянский» (прошлогодний) вопрос давно бы уже решен был в пользу славян, а не турок. Я готов поверить, что лорд Биконсфильд сам, может быть, забыл о своем происхождении, когда-то, от испанских жидов (наверно, однако, не забыл); но что он «руководил английской консервативной политикой» за последний год отчасти с точки зрения жида, в этом, по-моему, нельзя сомневаться. «Отчасти-то» уж нельзя не допустить.

Но пусть все это, с моей стороны, голословие, легкий тон и легкие слова. Уступаю. Но все-таки не могу вполне поверить крикам евреев, что уж так они забиты, замучены и принижены. На мой взгляд, русский мужик, да и вообще русский простолудин, несет тягостей чуть ли не больше еврея. Мой корреспондент пишет мне в другом уже письме:

«Прежде всего необходимо предоставить им (евреям) все гражданские права (подумайте, что они лишены до сих пор самого коренного права: свободного выбора местожительства, из чего вытекает множество страшных стеснений для всей еврейской массы), как и всем другим чужим народностям в России, а потом уже требовать от них исполнения своих обязанностей к государству и к коренному населению».

Но подумайте и вы, г-н корреспондент, который сами пишете мне, в том же письме, на другой странице, что вы «не в пример больше любите и жалеете трудящуюся массу русского народа, чем еврейскую» (что уже слишком для еврея сильно сказано), – подумайте только о том, что когда еврей «терпел в свободном выборе местожительства», тогда двадцать три миллиона «русской трудящейся массы» терпели от крепостного состояния, что, уж конечно, было потяжелее «выбора местожительства». И что же, пожалели их тогда евреи? Не думаю; в западной окраине России и на юге вам на это ответят обстоятельно. Нет, они и тогда точно так же кричали о правах, которых не имел сам русский народ, кричали и жалобились, что они забиты и мученики и что когда им дадут больше прав, «тогда и спрашивайте с нас исполнения обязанностей к государству и коренному населению». Но вот пришел освободитель и освободил коренной народ, и что же, кто первый бросился на него как на жертву, кто воспользовался его пороками преимущественно, кто оплел его вековечным золотым своим промыслом, кто тотчас же заметил, где только мог и поспел, упраздненных помещиков, с тою разницею, что помещики хоть и сильно эксплуатировали людей, но все же старались не разорять своих крестьян, пожалуй, для себя же, чтоб не истощить рабочей силы, а еврею до истощения русской силы дела нет, взял свое и ушел. Я знаю, что евреи, прочтя это, тотчас же закричат, что это неправда, что это клевета, что я лгу, что я потому верю всем этим глупостям, что «не знаю сорокавековой истории» этих чистых ангелов, которые несравненно «нравственно чище не только других народностей, но обоготворяемого мною русского народа» (по словам корреспондента, см. выше). Но пусть, пусть они нравственно чище всех народов в мире, а русского уж разумеется, а между тем я только что прочел в мартовской книжке «Вестника Европы» известие о том, что евреи в Америке, Южных Штатах, уже набросились всей массой на многомиллионную массу освобожденных негров и уже прибрали ее к рукам по-своему, известным и вековечным своим «золотым промыслом» и пользуясь неопытностью и пороками эксплуатируемого племени. Представьте же себе, когда я прочел это, мне тотчас же вспомнилось, что мне еще пять лет тому приходило это самое на ум, именно то, что вот ведь негры от рабовладельцев теперь освобождены, а ведь им не уцелеть, потому что на эту свежую жертвочку как раз набросятся евреи, которых столь много на свете. Подумал я это, и, уверяю вас, несколько раз потом в этот срок мне впадало на мысль: «Да что же там ничего об евреях не слышно, что в газетах не пишут, ведь эти негры евреям клад, неужели пропустят?» И вот дождался, написали в газетах, прочел. А дней десять тому назад прочел в «Новом времени» (? 371) корреспонденцию из Ковно, прехарактернейшую: «Дескать, до того набросились там евреи на местное литовское население, что чуть не сгубили всех водкой, и только ксендзы спасли бедных опившихся, угрожая им муками ада и устраивая между ними общества трезвости». Просвещенный корреспондент, правда, сильно краснеет за свое население, до сих пор верующее в ксендзов и в муки ада, но он сообщает при этом, что поднялись вслед за ксендзами и просвещенные местные экономисты, начали устраивать сельские банки, именно чтобы спасти народ от процентщика-еврея, и сельские рынки, чтобы можно было «бедной трудящейся массе» получать предметы первой потребности по настоящей цене, а не по той, которую назначает еврей. Ну, вот я это все прочел и знаю, что мне в один миг кричат, что все это ничего не доказывает, что это от того, что евреи сами угнетены, сами бедны, и что все это лишь «борьба за существование», что только глупец разобрать этого не может, не будь евреи так сами бедны, а, напротив, разбогатеи они, мигом показали бы себя с самой гуманной стороны, так мир бы весь удивили. Но ведь, конечно, все эти негры и литовцы еще беднее евреев, выжимающих из них соки, а ведь те (прочтите-ка корреспонденцию) гнушаются такой торговлей, на которую так падок еврей; во-вторых, не трудно быть гуманным и нравственным, когда самому жирно и весело, а чуть «борьба за существование», так и не подходи ко мне близко. Не совсем это, по-моему, такая ангельская черта, а в-третьих, ведь и конечно, не выставляю эти два известия из «Вестника Европы» и «Нового времени» за такие уж капитальные и всерешающие факты. Если начать писать историю этого всемирного племени, то можно тотчас же найти сто тысяч таких же и еще крупнейших фактов, так что один или два факта лишних ничего особенного не прибавят, но ведь что при этом любопытно: любопытно то, что чуть лишь вам – в споре ли или просто в минуту собственного раздумья – чуть лишь вам понадобится справка о евреях и делах его, – то не ходите в библиотеки для чтения, не ройтесь в старых книгах или в собственных старых отметках, не трудитесь, не ищите, не напрягайтесь, а не сходя с места, не подымаясь даже со стула, протяните лишь руку к какой хотите первой лежащей подле вас газете и поищите на второй или третьей странице: непременно найдете что-нибудь о евреях непременно то, что вас интересует, непременно самое характернейшее и непременно одно и то же – то есть все одни и те же подвиги! Так ведь это, согласитесь сами, что-нибудь да значит, что-нибудь

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r да указывает, что-нибудь открывает же вам, хотя вы были круглый невежда в сорокавековой истории этого племени. Разумеется, мне ответят, что все обуреваемы ненавистью, а потому все лгут. Конечно, очень может случиться, что все до единого лгут, но в таком случае рождается тотчас другой вопрос: если все до единого лгут и обуреваемы такую ненавистью, с чего-нибудь да взялась же эта ненависть, ведь что-нибудь значит же эта всеобщая ненависть, «ведь что-нибудь значит слово есе!» как восклицал некогда Белинский.

«Свободный выбор местожительства!» Но разве русский «коренной» человек уж так совершенно свободен в выборе местожительства? Разве не продолжают и до сих пор еще прежние, еще от крепостных времен оставшиеся и нежелательные стеснения в полной свободе выбора местожительства и для русского простолюдина, на которые давно обращает внимание правительство? А что до евреев, то всем видно, что права их в выборе местожительства весьма и весьма расширились в последние двадцать лет. По крайней мере, они явились по России в таких местах, где прежде их не видывали. Но евреи все жалуются на ненависть и стеснения. Пусть я не тверд в познании еврейского быта, но одно-то я уже знаю наверно и буду спорить со всеми, именно: что нет в нашем простонародье предвзятой, априорной, тупой, религиозной какой-нибудь ненависти к еврею, вроде: «Иуда, дескать, Христа продал». Если и услышишь это от ребятишек или от пьяных, то весь народ наш смотрит на еврея, повторяю это, без всякой предвзятой ненависти. Я пятьдесят лет видел это. Мне даже случалось жить с народом, в массе народа, в одних казармах, спать на одних нарах. Там было несколько евреев – и никто не презирал их, никто не исключал их, не гнал их. Когда они молились (а евреи молятся с криком, надевая особое платье), то никто не находил этого странным, не мешал им и не смеялся над ними, чего, впрочем, именно надо бы было ждать от такого грубого, по вашим понятиям, народа, как русские; напротив, смотря на них, говорили: «Это у них такая вера, это они так молятся», – и проходили мимо с спокойствием и почти с одобрением. И что же, вот эти-то евреи чуждались во многом русских, не хотели есть с ними, смотрели чуть не свысока (и это где же? в остроге!) и вообще выражали гадливость и брезгливость к русскому, к «коренному» народу. То же самое и в солдатских казармах, и везде по всей России: наведаетесь, спросите, обижают ли в казармах еврея как еврея, как жида, за веру, за обычай? Нигде не обижают, и так во всем народе. Напротив, уверяю вас, что и в казармах, и везде русский простолюдин слишком видит и понимает (да и не скрывают того сами евреи), что еврей с ним есть не захочет, брезгает им, сторонится и ограждается от него сколько может, и что же, – вместо того, чтоб обижаться на это, русский простолюдин спокойно и ясно говорит: «Это у него вера такая, это он по вере своей не ест и сторонится» (то есть не потому, что зол), и, сознав эту высшую причину, от всей души извиняет еврея. А между тем мне иногда входила в голову фантазия: ну что, если б это не евреев было в России три миллиона, а русских; а евреев было бы 80 миллионов – ну, во что обратились бы у них русские и как бы они их третировали? Дали бы они им сравняться с собою в правах? Дали бы им молиться среди них свободно? Не обратили ли бы прямо в рабов? Хуже того: не содрали ли бы кожу совсем? Не избили бы дотла, до окончательного истребления, как дельвали они с чужими народностями в старину, в древнюю свою историю? Нет-с, уверяю вас, что в русском народе нет предвзятой ненависти к еврею, а есть, может быть, несимпатия к нему, особенно по местам и даже, может быть, очень сильная. О, без этого нельзя, это есть, но происходит это вовсе не от того, что он еврей, не из племенной, не из религиозной какой-нибудь ненависти, а происходит это от иных причин, в которых виноват уже не коренной народ, а сам еврей.

Ненависть, да еще от предрассудков – вот в чем обвиняют евреи коренное население. Но если уж зашла речь о предрассудках, то как вы думаете: еврей менее питает предрассудков к русскому, чем русский к еврею? Не побольше ли? Вот я вам представлял примеры того, как относится русское простолюдье к еврею; а у меня перед глазами письма евреев, да не из простолюдья, а образованных евреев, и – сколько ненависти в этих письмах к «коренному населению»! А главное, – пишут, да и не примечают этого сами.

Видите ли, чтоб существовать сорок веков на земле, то есть во весь почти исторический период человечества, да еще в таком плотном и нерушимом единении; чтобы терять столько раз свою территорию, свою политическую независимость, законы, почти даже веру, – терять и всякий раз опять соединяться, опять возрождаться в прежней идее, хоть и в другом виде, опять создавать себе и законы и почти веру – нет, такой живучий народ, такой необыкновенно сильный и энергичский народ, такой беспримерный в мире народ не мог существовать без status in statu (государства в государстве), который он сохранял всегда и везде,

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r во время самых страшных, тысячелетних рассеяний и гонений своих. Говоря про status in statu, я вовсе не обвинение какое-нибудь хочу возвести. Но в чем, однако, заключается этот status in statu, в чем вековечно-неизменная идея его и в чем суть этой идеи?

Излагать это было бы долго, да и невозможно в коротенькой статье, да и невозможно еще и по той же причине, что не настали еще все времена и сроки, несмотря на протекавшие сорок веков, и окончательное слово человечества об этом великом племени еще впереди. Но не вникая в суть и в глубину предмета, можно изобразить хотя некоторые признаки этого status in statu по крайней мере, хоть наружно. Признаки эти: отчужденность и отчужденность на степени религиозного догмата, неслиянность, вера в то, что существует в мире лишь одна народная личность – еврей, а другие хоть есть, но все равно надо считать, что как бы их и не существовало. «Выйди из народов и составь свою особь и знай, что с сих пор ты один у бога, остальных истреби, или в рабов обрати, или эксплуатируй. Верь в победу над всем миром, верь, что все покорится тебе. Строго всем гнушайся и ни с кем в быту своем не сообщайся. И даже когда лишишься земли своей, политической личности своей, даже когда рассеян будешь по лицу всей земли, между всеми народами – все равно, – верь всему тому, что тебе обещано, раз навсегда верь тому, что все сбудется, а пока живи, гнушайся, единись и эксплуатируй и – ожидай, ожидай...» Вот суть идеи этого status in statu, а затем, конечно, есть внутренние, а может быть, и таинственные законы, ограждающие эту идею.

Вы говорите, господа образованные евреи и оппоненты, что уже это-то все вздор и что «если и есть status in statu (то есть был, а теперь-де остались самые слабые следы), то единственно лишь гонения привели к нему, гонения породили его, религиозные, с Средних веков и раньше, и явился этот status in statu и единственно лишь из чувства самосохранения. Если же и продолжается, особенно в России, то потому, что еврей еще не сравнен в правах с коренным населением». Но вот что мне кажется: если б он был и сравнен в правах, то ни за что не отказался бы от своего status in statu. Мало того: приписывать status in statu и одним лишь гонениям и чувству самосохранения – недостаточно. Да и не хватило бы упорства в самосохранении на сорок веков, надоело бы и сохранять себя такой срок. И сильнейшие цивилизации в мире не достигали и до половины сорока веков и теряли политическую силу и племенной облик. Тут не одно самосохранение стоит главной причиной, а некая идея, движущая и влекущая, нечто такое, мировое и глубокое, о чем, может быть, человечество еще не в силах произнести своего последнего слова, как сказал я выше. Что религиозный-то характер тут есть по преимуществу – это-то уже несомненно. Что свой промыслитель, под именем прежнего первоначального Иеговы, с своим идеалом и с своим обетом продолжает вести свой народ к цели твердой – это-то уже ясно. Да и нельзя, повторю я, даже и представить себе еврея без бога, мало того, не верю я даже и в образованных евреев, безбожников: все они одной сути, и еще бог знает чего ждет мир от евреев образованных! Еще в детстве моем я читал и слышал про евреев легенду о том, что они-де и теперь неуклонно ждут мессию, все, как самый низший жид, так и самый высший и ученый из них, философ и кабалист-раввин, что они верят все, что мессия соберет их опять в Иерусалиме и низложит все народы мечом своим к их подножию; что потому-то-де еврей, по крайней мере в огромном большинстве своем, предпочитают лишь одну профессию – торг золотом и много что обработку его, и это все будто бы для того, что когда явится мессия, то чтоб не иметь нового отечества, не быть прикрепленным к земле иноземцев, обладая ею, а иметь все с собою лишь в золоте и драгоценностях, чтоб удобнее их унести, когда «загорит, заблестит луч денницы: И кимвал, и тимпан, и цевницы, И серебро, и добро, и святыню Понесем в старый дом, в Палестину».

Все это, повторю, слышал я как легенду, но я верю, что суть дела существует непременно, особенно в целой массе евреев, в виде инстинктивно-неудержимого влечения. Но чтоб сохранялась такая суть дела, уж конечно, необходимо, чтоб сохранялся самый строгий status in statu. Он и сохраняется. Стало быть, не одно лишь гонение было и есть ему причиною, а другая идея...

Если же существует вправду такой особый, внутренний, строгий строй у евреев, связующий их в нечто цельное и особое, то ведь почти еще можно задуматься над вопросом о совершенном сравнении во всем их прав с правами коренного населения. Само собою, все, что требует гуманность и справедливость, все, что требует человечность и христианский закон, – все это должно быть сделано для евреев. Но если они, во всеоружии своего строя и своей особености, своего племенного и религиозного отъединения, во всеоружии своих правил и принципов, совершенно

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r противуположных той идее, следуя которой, доселе по крайней мере, развивался весь европейский мир, требуют совершенного уравнивания всевозможных прав с коренным населением, то – не получат ли они уже тогда нечто большее, нечто лишнее, нечто верховное против самого коренного даже населения? Тут, конечно, укажут на других инородцев: «Что вот, дескать, сравнены или почти сравнены в правах, а евреи имеют прав меньше всех инородцев, и это-де потому, что боятся нас, евреев, что мы-де будто бы вреднее всех инородцев. А между тем чем вреден еврей? Если и есть дурные качества в еврейском народе, то единственно потому, что сам русский народ таковым способствует, по русскому собственному невежеству своему, по необразованности своей, по неспособности своей к самостоятельности, по малому экономическому развитию своему. Русский-де народ сам требует посредника, руководителя, экономического опекуна в делах, кредитора, сам зовет его, сам отдается ему. Посмотрите, напротив, в Европе: там народы сильные и самостоятельные духом, с сильным национальным развитием, с привычкой давнишней к труду и с умением труда, и вот там не боятся дать все права еврею! Слышно ли что-нибудь во Франции о вреде от status in statu тамошних евреев?»

Рассуждение, по-видимому, сильное, но, однако же, прежде всего тут мерещится одна заметка в скобках, а именно: «Стало быть, еврейству там и хорошо, где народ еще невежествен, или несвободен, или мало развит экономически, – тут-то, стало быть, ему и лафа!» И вместо того, чтоб, напротив, влиянием своим поднять этот уровень образования, усилить знание, породить экономическую способность в коренном населении, вместо того еврей, где ни поселялся, там еще пуще унижал и развращал народ, там еще больше приникало человечество, еще больше падал уровень образования, еще отвратительнее распространялась безвыходная, бесчеловечная бедность, а с нею и отчаяние. В окраинах наших спросите коренное население: что двигает евреем и что двигало им столько веков? Получите единогласный ответ: безжалостность; «двигали им столько веков одна лишь к нам безжалостность и одна только жажда напиться нашим потом и кровью». И действительно, вся деятельность евреев в этих наших окраинах заключалась лишь в постановке коренного населения сколь возможно в безвыходную от себя зависимость, пользуясь местными законами. О, тут они всегда находили возможность пользоваться правами и законами. Они всегда умели водить дружбу с теми, от которых зависел народ, и уж не им бы роптать хоть тут-то на малые свои права сравнительно с коренным населением. Довольно они их получали у нас, этих прав, над коренным населением. Что становилось, в десятилетия и столетия, с русским народом там, где поселялись евреи, – о том свидетельствует история наших русских окраин. И что же? Укажите на какое-нибудь другое племя из русских инородцев, которое бы, по ужасному влиянию своему, могло бы равняться в этом смысле с евреем? Не найдете такого; в этом смысле еврей сохраняет всю свою оригинальность перед другими русскими инородцами, а причина тому, конечно, этот status in statu его, дух которого дышит именно этой безжалостностью ко всему, что не есть еврей, к этому неуважению ко всякому народу и племени и ко всякому человеческому существу, кто не есть еврей. И что в том за оправдание, что вот на Западе Европы не дали одолеть себя народы и что, стало быть, русский народ сам виноват? Потому что русский народ в окраинах России оказался слабее европейских народов (и единственно вследствие жестоких вековых политических своих обстоятельств), потому только и задавить его окончательно эксплуатацией, а не помочь ему?

Если же и указывают на Европу, на Францию например, то вряд ли и там безвреден был status in statu. Конечно, христианство и идея его там пали и падают не по вине еврея, а по своей вине, тем не менее нельзя не указать и в Европе на сильное торжество еврейства, заменившего многие прежние идеи своими. О, конечно, человек всегда и во все времена боготворил матерьялизм и наклонен был видеть и понимать свободу лишь в обеспечении себя накопленными изо всех сил и запасенными всеми средствами деньгами. Но никогда эти стремления не возводились так откровенно и так поучительно в высший принцип, как в нашем девятнадцатом веке. «Всяк за себя и только за себя и всякое общение между людьми единственно для себя», – вот нравственный принцип большинства теперешних людей, и даже не дурных людей, а, напротив, трудящихся, не убивающих, не воруящих. А безжалостность к низшим массам, а падение братства, а эксплуатация богатого бедным, – о, конечно, все это было и прежде и всегда, но – но не возводилось же на степень высшей правды и науки, не осуждалось же христианством, а теперь, напротив, возводится в добродетель. Стало быть, недаром же все-таки царят там повсеместно евреи на биржах, недаром они движут капиталами, недаром же они властители кредита и недаром, повторю это, они же властители и всей международной политики, и что будет дальше – конечно, известно и самим евреям: близится их царство, полное их царство!

Дом в Кузнечный переулке в Санкт-Петербурге, где находилась последняя квартира Ф.М. Достоевского. В этом доме писатель скончался 28 января 1881 г. Здесь он работал над «Дневником писателя», знаменитой «Речью о Пушкине», завершил последний роман «Братья Карамазовы»

Наступает вполне торжество идей, перед которыми никнут чувства человеколюбия, жажда правды, чувства христианские, национальные и даже народной гордости европейских народов. Наступает, напротив, матерьялизм, слепая, плотоядная жажда личного матерьяльного обеспечения, жажда личного накопления денег всеми средствами – вот все, что признано за высшую цель, за разумное, за свободу, вместо христианской идеи спасения лишь посредством теснейшего нравственного и братского единения людей. Засмеются и скажут, что это там вовсе не от евреев. Конечно, не от одних евреев, но если евреи окончательно восторжествовали и процвели в Европе именно тогда, когда там восторжествовали эти новые начала даже до степени возведения их в нравственный принцип, то нельзя не заключить, что и евреи приложили тут своего влияния. Наши оппоненты указывают, что евреи, напротив, бедны, повсеместно даже бедны, а в России особенно, что только самая верхушка евреев богата, банкиры и цари бирж, а из остальных евреев чуть ли не девять десятых их – буквально нищие, мечутся из-за куска хлеба, предлагают куртаж, ищут, где бы урвать копейку на хлеб. Да, это, кажется, правда, но что же это обозначает? Не значит ли это именно, что в самом труде евреев (то есть огромного большинства их, по крайней мере), в самой эксплуатации их заключается нечто неправильное, ненормальное, нечто неестественное, несущее само в себе свою кару. Еврей предлагает посредничество, торгует чужим трудом. Капитал есть накопленный труд; еврей любит торговать чужим трудом! Но все же это пока ничего не изменяет; зато верхушка евреев воцаряется над человечеством все сильнее и тверже и стремится дать миру свой облик и свою суть. Евреи все кричат, что есть же и между ними хорошие люди. О боже! да разве в этом дело? Да и вовсе мы не о хороших или дурных людях теперь говорим. И разве между теми нет тоже хороших людей? Разве покойный парижский Джемс Ротшильд был дурной человек? Мы говорим о целом и об идее его, мы говорим о жидовстве и об идее жидовской, охватывающей весь мир, вместо «неудавшегося» христианства...

Но что же я говорю и зачем? Или и я враг евреев? Неужели правда, как пишет мне одна, безо всякого для меня сомнения (что уже видно по письму ее и по искренним, горячим чувствам письма этого), благороднейшая и образованная еврейская девушка, – неужели и я, по словам ее, враг этого «несчастливого» племени, на которое я «при всяком удобном случае будто бы так жестоко нападаю». «Ваше презрение к жидовскому племени, которое «ни о чем, кроме себя, не думает» и т. д. и т. д., очевидно». – Нет, против этой очевидности я восстану, да и самый факт оспариваю. Напротив, я именно говорю и пишу, что «все, что требует гуманность и справедливость, все, что требует человечность и христианский закон, – все это должно быть сделано для евреев». Я написал эти слова выше, но теперь я еще прибавлю к ним, что, несмотря на все соображения, уже мною выставленные, я окончательно стою, однако же, за совершенное расширение прав евреев в формальном законодательстве и, если возможно только, и за полнейшее равенство прав с коренным населением (NB. Хотя, может быть, в иных случаях, они имеют уже и теперь больше прав или, лучше сказать, возможности ими пользоваться, чем само коренное население). Конечно, мне приходит тут же на ум, например, такая фантазия: ну что если пошатнется каким-нибудь образом и от чего-нибудь наша сельская община, ограждающая нашего бедного коренника-мужика от стольких зол, – ну что если тут же к этому освобожденному мужику, столь неопытному, столь не умеющему сдерживать себя от соблазна и которого именно опекала доселе община, – нахлынет всем кагалом еврей – да что тут: тут мигом конец его: все имущество его, вся сила его перейдет назавтра же во власть еврея, и наступит такая пора, с которой не только не могла бы сравняться пора крепостничества, но даже татарщина.

Но несмотря на все «фантазии» и на все, что я написал выше, я все-таки стою за полное и окончательное уравнивание прав – потому что это Христов закон, потому что это христианский принцип. Но если так, то для чего же я исписал столько страниц и что хотел выразить, если так противуречу себе? А вот именно то, что я не противуречу себе и что с русской, с коренной стороны нет и не вижу препятствий в расширении еврейских прав, но утверждаю зато, что препятствия эти лежат со

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
сторону евреев несравненно больше, чем со стороны русских, и что если до сих пор не созидается того, чего желалось бы всем сердцем, то русский человек в этом виновен несравненно менее, чем сам еврей. Подобно тому, как я выставлял еврея-простолюдина, который не хотел сообщаться и есть с русскими, а те не только не сердились и не мстили ему за это, а, напротив, разом осмыслили и извинили его, говоря: «Это он потому, что у него вера такая», – подобно тому, то есть этому еврею-простолюдину, мы и в интеллигентном еврее видим весьма часто такое же безмерное и высокомерное предубеждение против русского. О, они кричат, что они любят русский народ; один так даже писал мне, что он именно скорбит о том, что русский народ не имеет религии и ничего не понимает в своем христианстве. Это уже слишком сильно сказано для еврея, и рождается лишь вопрос: понимает ли что в христианстве сам-то этот высокообразованный еврей? Но самомнение и высокомерие есть одно из очень тяжелых для нас, русских, свойств еврейского характера. Кто из нас, русский или еврей, более способен понимать друг друга? Клянусь, я оправдаю скорее русского: у русского, по крайней мере, нет (положительно нет!) религиозной ненависти к еврею. А остальных предубеждений где, у кого больше? Вон евреи кричат, что они были столько веков угнетены и гонимы, угнетены и гонимы и теперь, и что это, по крайней мере, надобно взять в расчет русскому при суждении о еврейском характере. Хорошо, мы и берем в расчет и доказать это можем: в интеллигентном слое русского народа не раз уже раздавались голоса за евреев.

Ну, а евреи: брали ли и берут ли они в расчет, жалуясь и обвиняя русских, столько веков угнетений и гонений, которые перенес сам русский народ? Неужто можно утверждать, что русский народ вытерпел меньше бед и зол «в свою историю», чем евреи где бы то ни было? И неужто можно утверждать, что не еврей, весьма часто, соединялся с его гонителями, брал у них на откуп русский народ и сам обращался в его гонителя? Ведь это все было же, существовало, ведь это история, исторический факт, но мы нигде не слыхали, чтоб еврейский народ в этом раскаивался, а русский народ он все-таки обвиняет за то, что тот мало любит его.

Но «буди! буди!» Да будет полное и духовное единение племен и никакой разницы прав! А для этого я прежде всего умоляю моих оппонентов и корреспондентов-евреев быть, напротив, к нам, русским, снисходительнее и справедливее. Если высокомерие их, если всегдашняя «скорбная брезгливость» евреев к русскому племени есть только предубеждение, «исторический нарост», а не кроется в каких-нибудь гораздо более глубоких тайнах его закона и строя, – то да рассеется все это скорее и да сойдемся мы единым духом, в полном братстве, на взаимную помощь и на великое дело служения земле нашей, государству и отечеству нашему! Да смягчатся взаимные обвинения, да исчезнет всегдашняя экзальтация этих обвинений, мешающая ясному пониманию вещей. А за русский народ поручиться можно: о, он примет еврея в самое полное братство с собою, несмотря на различие в вере, и с совершенным уважением к историческому факту этого различия, но все-таки для братства, для полного братства нужно братство с обеих сторон. Пусть еврей покажет ему и сам хоть сколько-нибудь братского чувства, чтоб ободрить его. Я знаю, что в еврейском народе и теперь можно отделить довольно лиц, ищущих и жаждущих устранения недоумений, людей притом человеколюбивых, и не я буду молчать об этом, скрывая истину. Вот для того-то, чтоб эти полезные и человеколюбивые люди не унывали и не падали духом и чтоб сколько-нибудь ослабить предубеждения их и тем облегчить им начало дела, я и желал бы полного расширения прав еврейского племени, по крайней мере по возможности, именно насколько сам еврейский народ докажет способность свою принять и воспользоваться правами этими без ущерба коренному населению. Даже бы можно было уступить вперед, сделать с русской стороны еще больше шагов вперед... Вопрос только в том: много ли удастся сделать этим новым, хорошим людям из евреев, и насколько сами они способны к новому и прекрасному делу настоящего братского единения с чуждыми им по вере и по крови людьми?..

Лакейство или деликатность?

(Из «Дневника писателя. 1877 год)

Известно, что все русские интеллигентные люди чрезвычайно деликатны, то есть в тех случаях, когда они имеют дело с Европой или думают, что на них смотрит Европа, – хотя бы та, впрочем, и не смотрела на них вовсе. О, дома, про себя и между собою, мы свое возьмем, дома весь европеизм побоку – взять лишь, походя, наши отношения семейные, гражданские, чести, долга, в самом огромном большинстве случаев. Да и кто из проповедующих «европейские» идеи серьезно у нас в них верит? Конечно, лишь люди честные и при этом непременно добрые (так что и верят-то лишь по доброте души), но ведь много ль у нас таких-то? Если уж все говорить, так ведь у нас, может быть, нет ни одного европейца, потому что мы и

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
неспособны быть европейцами. Умы же передовые, биржевые и всячески руководящие берут у нас с европейских идей лишь оброк, и я думаю, что это у нас так и есть, повсеместно. Не говорю, конечно, про людей с большим здравым смыслом: те не верят в европейские идеи, потому что и верить-то не во что, ибо никогда и ничто на свете не отличалось такою неясностью, туманностью, неопределенностью и неопределимостью, как тот «цикл идей», который мы нажили себе в двухсотлетний период нашего европейничания, – а в сущности не цикл, а хаос обрывков чувств, чужих недопонятых мыслей, чужих выводов и чужих привычек, но особенно слов, слов и слов – самых европейских и либеральных, конечно, но для нас все же слов, и только слов.

Объяснить все это прямо попугайством нельзя. Тоже и лакейством мысли нельзя, русским лакейством мысли перед Европой. Лакейства мысли у нас много и очень даже, но высшая причина нашей европейской кабалы все же не лакейство, а скорее наша русская, врожденная нам деликатность перед Европой. Скажут, что ведь это, пожалуй, одно и то же, что и лакейство. Во многих случаях – да, но нельзя сказать, чтоб всегда. (Я, разумеется, об руководящих плутах, о которых заметил выше, и не говорю: этим европейцам до Европы ровно никакого дела нет и никогда не бывало. Они, как умные люди, в мутной воде рыбу ловят, все два века ловили.)

Вот как говорит, например, англичанин Гладстон о теперешней русской войне с Турцией:

«Что бы ни говорили о некоторых других главах русской истории, освобождением многих миллионов поработанных народов от жестокого и унижительного ига Россия окажет человечеству одну из самых блестящих услуг, какие только помнит история, услугу, которая никогда не изгладится из благодарной памяти народов».

Как вы думаете, откровенно спрашивая, мог ли бы произнести такие слова русский европеец? Да никогда в жизни! Он проглотил бы язык свой прежде, чем это произнести; он от деликатности не то что перед Европой, а перед самим собой покраснеет, если только услышит это или прочтет по-русски и у русского. Помилуйте, да как мы смеем в калашный ряд! И «для всего человечества» – это мы-то, русские! Да мы еще рылом не вышли для этого, у нас еще рожа крива, чтоб «освободить человечество».

И при этом все нелиберальные такие мысли: «Россия освобождает народы» – какая нелиберальная мысль!

Вот искреннее мнение русского европейца чистого типа, и он отрубит себе сначала пальцы, чем напишет то же, что и Гладстон. «Гладстону-де можно, пожалуй, так сочинять; он или не понимает ничего в России, или себе на уме сочиняет, для дальнейших целей», – вот что думает европеец. А иные из них, подорожнее и погорячее, тут же, пожалуй, прибавят про себя не без гордости:

«А ведь мы, русские европейцы, пожалуй что и либеральнее европейских-то европейцев, дальше пошли: кто у нас из трезвых умов заикнется теперь об каком-то “освобождении народов”? Вот ретроградство-то! И Гладстон такие вещи говорит не стыдись!»

Как это все назвать, господа? Лакейством или деликатностью перед Европой?

Я все стою на том, что в европейском периоде нашей истории огромную роль играла деликатность. Ведь из этих европейцев наших так много людей честнейших, смелых, людей чести, хоть и чужой, усвоенной, хоть и не понимаемой, может быть, самим-то рыцарем, потому что все же это европейская для него тарабарщина, но все же чести, – людей, которые лично себе на ногу наступить не позволят. Ну как же прямо так-таки и назвать их лакеями? Нет, деликатность заела нас, а не лакейство. Опять-таки, разумеется, перед Европой деликатность: у себя дома мы свое наверхстаем.

Дамы, восторженно подносявшие туркам конфеты и сигары, разумеется, делали это тоже из деликатности: «Как, дескать, мы мило, нежно, мягко, гуманно, европейски просвещены!» Теперь этих дам вразумили отчасти некоторые грубые люди, но прежде, до вразумления, – ну, положим, на другой день после того поезда турок, в который бросали букетами и конфетами, – что если б прибыл другой поезд с турками же, а в нем тот самый башибузок, о котором писали, что особенно отличается умением разрывать с одного маху, схватив за обе ножки, грудного ребенка на две части, а

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
у матери тут же выкроить из спины ремень? Да, я думаю, эти дамы встретили бы его визгом восторга, готовы были бы отдать ему не только конфеты, но что-нибудь и получше конфет, а потом, пожалуй, завели бы речь в дамском своем комитете о стипендии имени его в местной гимназии. О, поверьте, что деликатность до всего может у нас дойти, и предположение это вовсе не фантастическое. Смотри на себя в зеркало, эти дамы, я думаю, сами бы влюблялись в себя: «Какие мы гуманные, какие мы

либеральные милочки!» И неужели вы думаете, что эта фантастическая картинка не могла бы осуществиться? Тот высокомерный взгляд, который бросает иной европеец теперь на народ наш и на движение его, отрицая во всем народе нашем всякую мысль и движение, «кроме глупо-кликушечьих выходов из тысячей простонародья какого-нибудь одного дурака», неужели такой взгляд, возможность такого взгляда, обратившаяся в действительность, не стоит изображенной выше фантастической картинкой?

Деликатность перед Европой с нами повсеместно. Турецкие пленные потребовали белого хлеба, и им явился белый хлеб. Турецкие пленные отказались работать. Князь Мещерский, очевидец, повествует в своем «Дневнике» с Кавказа, что – «Пленные-паши выехали из Тифлиса. Их хотели везти на перекладных, но они взбунтовались и изволили объявить, что не поедут, ибо не привыкли к русским телегам. Вследствие этого им поданы были почтовые кареты и рессорные экипажи, с шестернями лошадей к каждому экипажу. На это они изволили заявить свое удовольствие, и, вследствие огромного числа забранных под них лошадей, бедные проезжающие по Военно-Грузинской дороге будут сидеть трое суток без лошадей. А офицеру русской службы, сопровождающему их, назначено 50 коп. суточных, и посадили его не в карету, а как сажат прислугу в омнибус! Все это гуманность!» («Моск. ведом.»? 273).

То есть не гуманность, а именно вот та самая деликатность перед европейским мнением о нас, чуткость, чувствительность: «Европа, дескать, на нас глядит, надо, стало быть, в полном мундире быть и пашам кареты подать».

«Московские ведомости» далее, в другом своем, 282 номере передают о целом вопле голосов в Москве, когда увидели москвичи все те неслыханные удобства, с которыми перевозят у нас пленных турок:

«Все пленные рядовые были удобно размещены в вагонах третьего, офицеры второго класса, а паша занял купе первого класса вагона. Зачем для них такие удобства? – слышалось в публике. – наших-то гренадер, небось, вывезли из Москвы в лошадиных вагонах, а для них отпускают особый пассажирский поезд.

– Что гренадеры, – замечает в толпе какой-то купчик, – вот даже раненых солдатиков возили в товарных вагонах и соломки под них не успели подкладывать. А паша-то какой откормленный, что твой боров, в товарный бы его, пусть бы с него жиру немного посбавилось.

– Там-то раненых наших прирезывали, жилы из них тянули, медленным огнем жгли, а теперь их холят за то».

Такие голоса (замечают далее «М. вед.») были не единичными, а ими выражалось общее в народе мнение о том, что больно видеть, как башибузуки и вся эта турецкая рвань, обобранная своими же собственными пашами, пользуется такими большими удобствами сравнительно с нашими воинами.

То есть мы, собственно, ничего тут особого не видим: деликатность или, так сказать, мундир деликатности перед европейским мнением – вот и все тут; но ведь это, так сказать, два века у нас продолжается, так уж пора привыкнуть.

Дошло до анекдотов, то вот и еще анекдот. Отметил я его в «Петербургской газете», а та взяла из письма господина В. Крестовского, писанного с театра военных действий, но куда, не знаю. Откуда заимствовано «Петербургской газетой», тоже не ведаю. Говорится так:

«В письме г-на Крестовского приводится один комический факт: “Около свиты появился какой-то англичанин в пробковом шлеме и статском пальто горохового цвета. Говорят, что он член парламента, пользующийся вакационным временем для составления корреспонденции ‘с места военных действий’ в одну из больших

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
лондонских газет ('Times'); другие же уверяют, что он просто любитель, а третьи, что он друг России. Пускай все это так, но нельзя не заметить, что этот 'друг России' ведет себя несколько эксцентрично: сидит, например, в присутствии великого князя в то время, когда стоят все, не исключая даже и его высочества; за обедом встает, когда ему вздумается, из-за стола, где сидит великий князь, и в этот день обратился даже к одному знакомому офицеру с предложением затянуть на него в рукава гороховое пальто. Офицер окинул его с ног до головы несколько удивленным взглядом, улыбнулся слегка, пожал плечами и беспрекословно помог надеть пальто. Конечно, более ничего и не оставалось сделать. Англичанин в ответ слегка приложился рукою к своему пробковому шлему».

«Петербургская газета» назвала этот факт комическим. К сожалению, я ровно ничего в нем не вижу комического, а, напротив, очень много досадного и портящего кровь. К тому же в нас как бы укрепилась с детства вера (из романов и из французских водевилей, я думаю), что всякий англичанин чудак и эксцентрик. Но что такое: чудак? Не всегда же дурак или такой уж наивный человек, который и догадаться не может, что на свете не все же ведь одни и те же порядки, как где-то там у него в углу. Англичане народ очень, напротив, умный и весьма широкого взгляда. Как мореплаватели, да еще просвещенные, они перевидали чрезвычайно много людей и порядков во всех странах мира. Наблюдатели они необыкновенные и даровитые. У себя они открыли юмор, обозначили его особым словом и растолковали его человечеству. Такому ли человеку, да еще члену парламента, не знать, где вставать, где сидеть? Да нет страны, в которой этикет имел бы большее приложение, как в Англии. Придворный, например, английский этикет есть самый сложный и утонченный этикет в мире. Если этот англичанин член парламента, то, конечно, слишком мог научиться этикету из одного того уже, как один парламента – нижний сносятся с другим – высшим. И именно в том смысле: кто перед кем может сидеть, а кто перед кем обязан вставать. Если он при этом и член высшего общества, то опять-таки нигде нет такого этикета, как на приемах, обедах, балах английской аристократии во время ихнего лондонского сезона. Нет, тут совсем другое, если судить по тому, как изложен анекдот. Тут английская гордость, но не просто гордость, а с заносчивым вызовом. Этот «друг России» не может быть большим ее другом. Он сидит, смотрит на русских офицеров и думает: «Господа, я знаю, что вы львы сердцем, вы предпринимаете невозможное и исполняете его. Страх перед врагом в вас нет, вы герои, вы Баярды все до единого, и чувство чести вам знакомо вполне. Не могу же я не согласиться с тем, что своими глазами вижу. Тем не менее я англичанин, а вы только русские, я европеец, а перед Европой вы обязаны «деликатностью». Какие бы вы львиные сердца ни носили в себе, а я все-таки высшего типа человек, чем вы. И мне это очень приятно, особенно приятно изучать «деликатность» вашу передо мной, врожденную и неотразимую, без которой русский не может смотреть на иностранца, тем более на такого иностранца, как я. Вы думаете, что это все мелочи; да мелочи-то и утешают меня, весьма забавляют, я поехал прогуляться, я слышал, что вы герои, и приехал посмотреть на вас, но ворочусь все-таки с убеждением, что, как сын Старой Англии (тут у него дрожит от гордости сердце), я все-таки на свете первый человек, а вы всего лишь второстепенные».

Всего любопытнее в вышеприведенном факте последние строки:

«Офицер окинул его с ног до головы несколько удивленным взглядом, улыбнулся слегка, пожал плечами и беспрекословно помог надеть пальто. Конечно, более ничего и не оставалось сделать».

Как так: «конечно»? Почему более ничего не оставалось сделать? Напротив, именно можно было сделать совершенно другое, обратное противоположное: можно было «окинуть его с ног до головы несколько удивленным взглядом, улыбнуться слегка, пожать плечами» и – отойти мимо, так-таки и не дотронувшись до пальто, – вот что можно было сделать. Неужели нельзя было заметить, что просвещенный мореплаватель фокусничает, что тончайший знаток этикета ловит минуту удовлетворения мелочной своей гордости? То-то и есть, что нельзя было, может быть, спохватиться в тот миг, а помешала именно наша просвещенная «деликатность» – не перед англичанином этим деликатность, не перед членом этим парламента в каком-то пробковом шлеме (какой такой пробковый шлем?), – а перед Европой деликатность, перед долгом европейского просвещения «деликатность», в которой мы выросли, погрязли до потери самостоятельной личности и из которой долго нам не выкарабкаться.

Подвоз патронов в турецкую армию из Англии и Америки колоссальный; достоверно теперь вполне, что турецкий солдат в Плевно тратит в день иной раз по 500

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r патронов; ни средств, ни денег не могло быть у турок, чтобы так вооружить армию. Присутствие англичан и их денег в теперешней войне несомненно. Ихние пароходы доставляют оружие и все необходимое. А у нас иные газеты наши кричат из «деликатности»: «Ах, не говорите этого, ах, не подымайте вы только этого, пусть мы не видим, пусть мы не слышим, а то просвещенные мореплаватели рассердятся и тогда...».

Да что же тогда? Чего вы трусите? Много бы можно еще прибавить на тему о «деликатности».

Даже если есть какие-нибудь там вексельки и векселечки, выданные нами Европе, в виде разных обещаний, еще перед тем как перешли мы Барбошский мост, то несомненно и это должно было произойти из «деликатности» нашей, из деликатности перед Европой и перед обаянием ее. Но о «деликатности» пока оставим. Я лишь припомню, что в начале главы, начав о деликатности, я прибавил: «Что ведь это всего только перед Европой, а у себя-то мы всегда свое наворачстаем». Мне хочется, именно, пользуясь случаем, указать, как иногда мы у себя наворачстаем умеем, реванш возьмем.

Помните ли, господа, как еще летом, еще задолго до «Плевны», мы вдруг вошли в Болгарию, явились за Балканами и онемели от негодования. То есть не все, это первым делом надо заявить, даже далеко не половина, а гораздо меньше, – но все же вознегодовавших было значительное число и раздались голоса. Голоса корреспондентов из армии и потом тотчас же голоса в нашей прессе, особенно в петербургской. Это были горячие голоса, убежденные, полные самого добродетельного негодования...

Все дело вышло из-за того, что обладатели голосов этих шли, как известно всему миру и особенно нам, спасти угнетенных, униженных, раздавленных и измученных. Еще до объявления войны я, помню, читал в самых серьезнейших из наших газет, при расчете о шансах войны и необходимо предстоящих издержек, что, конечно, «вступив в Болгарию, нам придется кормить не только нашу армию, но и болгарское население, умирающее с голоду». Я это сам читал и могу указать, где читал, и вот, после такого-то понятия о болгарях, об этих угнетенных, измученных, за которых мы пришли с берегов финского залива и всех русских рек отдавать свою кровь, – вдруг мы увидели прелестные болгарские домики, кругом них садики, цветы, плоды, скот, обработанную землю, родящую чуть не сторицею, и, в довершение всего, по три православных церкви на одну мечеть, – это за веру-то угнетенных! «Да как они смеют!» – загорелось мгновенно в обиженных сердцах иных освободителей, и кровь обиды залила их щеки. «И к тому же мы их спасти пришли, стало быть, они бы должны почти на коленках встречать. Но они не стоят на коленках, они косятся, даже как будто и не рады нам! Это нам-то! Хлеб-соль выносят, это правда, но косятся, косятся!..»

И поднялись голоса. Послушайте, господа, как вы думаете: вдруг вы получаете или фальшивую или ложно понятую вами телеграмму о том, что близкий вам человек, друг или брат ваш, лежит больной, где-то там ограблен, или под вагон попал, или что-нибудь в этом роде. Вы бросаете все дела ваши и мчитесь к несчастному брату, – и вдруг ничего не бывало: вы встречаете человека, который здоровее вас, сидит за столом и обедает, с криком зовет вас за стол и хохочет о фальшивой вашей тревоге, о вышедшей путанице. Любите вы или даже не очень любите этого человека, но неужели вы рассердитесь на него за то, что его не ограбили и что он не попал под вагон? Главное, за то, что у него такие красные щеки и что он так исправно ест обед и пьет вино? Ведь не правда ли, что нет? Напротив, ведь вы порадоваться еще должны, что он жив и здоровее вашего. Ну, конечно, по человечеству немножко и рассердитесь, – но ведь не за то же, что ему не перерезало колесами ноги? Ведь не пойдете же вы сейчас из-за стола писать об нем корреспонденции и анекдоты, чернить его характер, подмечать невыгодные черты. Ну, а ведь про болгар это делали. «У нас, дескать, и зажиточный мужик так не питается, как этот угнетенный болгарин». А другие так вывели потом, что русские-то и причиной всех несчастий болгарских: что не грозили бы мы прежде, не зная дела, за угнетенного болгарина турке и не пришли бы потом освобождать этих «ограбленных» богачей, так жил бы болгарин до сих пор как у Христа за пазухой. Это и теперь еще утверждают.

Я только с той стороны говорю, что нашу «деликатность» перед Европой и наш просвещенный европеизм мы-таки умеем иногда наворачстаем по-своему у себя дома, где Европа не видит уже нас и не смотрит, да и по-русски не понимает. А Болгария – это ведь дома. Мы их освобождать пришли, значит, все равно что к себе пришли,

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
они наши. У него там сад и имение, так ведь это имение все равно что мое; я, конечно, не возьму у него ничего, потому что я благородный человек, да, правда, и власти не имею, но все же он должен чувствовать и навеки быть благодарным, потому что раз я к нему вошел, – все, что у него есть, это все равно, что я ему подарил. Отнял у его угнетателя турка, а ему возвратил. Должен же он понимать это. А тут вдруг его никто и не угнетает – какая обидная неприятность, не правда ли?

А какое лакейство вместо просвещенной-то деликатности, не правда ли? И какой смешной случай! Это самое комическое из намерений своего «у себя дома» за тяготу неловкого мундира европейской деликатности, в котором мы щеголяем перед Европой. Самый лакейский случай случился с этими пылками господами и застал довольно многих из нас совсем врасплох. Это уже посерьезнее, чем врасплох подать пальто англичанину.

Потом все обнаружилось, и истина открылась многим из вознегодовавших, хотя не всем, до сих пор не всем. Обнаружилось, во-первых, что болгарин ничем не виноват в том, что он трудолюбив и что земля его родит во сто крат. Во-вторых, в том, что и «косился», он не виноват. Взять уж одно то, что он четыре столетия – раб и, встречая новых господ, не верит, что они ему братья, а верит только, что они ему новые господа, да сверх того еще боится прежних господ и тяжело про себя думает: «А ну как те опять вернутся да узнают, что я хлеб-соль подносил?» Ну вот от этих-то внутренних вопросов он и косился – и ведь прав был, вполне угадал, бедняжка: после того как мы, совершив наш первый, молодецкий натиск за Балканы, вдруг отретировались, – пришли ведь к ним опять турки и что только им от них было – теперь уже достояние всемирной истории! Эти красивые домики, эти посева, сады, скот – все это было разграблено, обращено в пепел и стерто с лица земли. Не десятками и не сотнями, а тысячами и десятками тысяч истреблялись болгары огнем и мечом, дети их разрывались на части и умирали в муках, обесчещенные жены и дочери были или избиты после позора, или уведены в плен на продажу, а мужья – вот те самые, которые встречали русских, да сверх того и те самые, которые никогда не встречали русских, но к которым могли когда-нибудь прийти русские, – все они поплатились за русских на виселицах и на кострах. Их прибавляли мучившие их скоты на ночь за уши гвоздями к забору, а наутро вешали всех до единого, заставляя одного из них вешать прочих, и он, повесив десятка два виновных, кончал тем, что сам обязан был повеситься в заключение при общем смехе мучивших их, сладострастных к мучениям скотов, называемых турецкою нацией и которыми столь восхищались потом иные из деликатнейших барынь наших.

NB. (Кстати, еще недавно, уже в половине ноября, писали из Пиргоса о новых зверствах этих извергов. Когда, во время горячей бывшей там стычки, турки временно оттеснили наших так, что мы не успели захватить наших раненых солдат и офицеров, и когда потом, в тот же день к вечеру, опять наши воротились на прежнее место, то нашли своих раненых солдат и офицеров обкраденными, голыми, с отрезанными носами, ушами, губами, с вырезанными животами и, наконец, обгорелыми в сожженных турками скирдах соломы и хлеба, куда они предварительно перенесли живых наших раненых. Репрессалии, конечно, жестокая вещь, тем более, что в сущности ни к чему не ведут, как и сказал уже я раз в одном из предыдущих выпусков «Дневника», но строгость с начальством этих скотов была бы не лишнею. Можно бы прямо объявить, вслух и даже на всю Европу (пруссаки наверно бы сделали так, потому что они даже с французами так точно делали по причинам в десять раз меньше уважительным, чем те, которые имеем мы против воюющих с нами скотов), – что если усмотрятся совершенные зверства, то ближайшие начальники тех турок, которые совершили зверства, в случае взятия их в плен, будут судимы на месте военным судом и подвержены смертной казни расстрелянием. Это, может быть, и имело бы некоторое влияние на офицеров и пашей турецких. (NB. Мне кажется, всегда можно бы было узнать, сейчас или потом, кто из турецких начальников командовал, например, атакой у Пиргоса.) Такой сюрприз, вместо рессорных экипажей, может быть, вразумил бы многих из них. Теперь же этот самый «начальник», попавшись в плен и видя, как его встречают после зверств его, прямо воображает, что он безмерно выше «поганого русского». Европейской деликатности нашей и страху нашему перед Европой, поверьте, этот турок никогда не поверит, да и не поймет этого вовсе, да и не вообразит этой причины вовсе. Деликатный страх перед Европой есть чисто русское дело и изобретение и не может быть понят никогда и никем. А потому, «если ты так кланяешься мне», рассуждает турецкий начальник, «после того как я, может быть, брату твоему родному вчера еще нос отрезать позволил, то, значит, ты сам чувствуешь себя передо мною низшим, а меня высшим перед собой человеком. Но точно так и должно быть, по воле Аллаха, и нет

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r тут ничего удивительного!» Вот что должен думать про себя пленный турецкий паша, и непременно так думает.)

Таким образом, когда вознегодовавшие на болгар за то, что они хорошо живут, дожили до печальной с ними развязки, то поневоле поняли, что болгарская жизнь в сущности всего только одна декорация, что все эти домики и садики, и жены, и дети, и несовершеннолетние мальчики и девочки в этих домах – все это в сущности принадлежит турку и берется им, когда он захочет. Он и берет, и в мирное время берет, и во время процветания берет, берет и деньгами и скотами, и женами и девочками, и если сверх того все продолжало оставаться в цветущем виде, то это потому только, что турок не хотел разрушать вконец такую плодородную ниву, имея в виду и впредь почерпать с нее. Напротив, позволял временем и местами полное процветание, именно для того, чтоб в свое время почерпать и почерпать.

Теперь, конечно, турки расвирепели и истребляют Болгарию вконец. Они жалеют, что не истребили вовсе. Если мы возьмем Плевно и замедлим двинуться далее, то турки, видя, что, может быть, придется проститься навеки с Болгарией, истребят все, что только можно в ней истребить, пока есть еще время. Замечательны два мнения: у нас утверждают мудрые до сих пор, что без вмешательства русских болгарин жил бы как у Христа за пазухой и что русские – причина всех его несчастий. А вот известный своими прекрасными и обстоятельными статьями с поля битвы, из нашего лагеря, англичанин Форбес, корреспондент газеты «Daily News», кончил тем, что высказал наконец всю свою английскую правду откровенно. Он искренно признает, что турки имели «полное право» истребить все болгарское население к северу от Балкан, в то время, когда русская армия перешла через Дунай. Форбес почти жалеет (политически, конечно), что этого не случилось, и выводит, что болгары должны быть обязаны вечною благодарностью туркам за то, что те их тогда не прирезали всех поголовно, как баранов. Вспомнив наше русское мнение о «болгарине как у Христа за пазухой» и сопоставив его с мнением Форбеса, можно прямо обратиться к болгарину с таким увещанием: «Как же ты после того не у Христа за пазухой, если тебя поголовно всего не прирезали?» Но странно тут и еще одно, и в глаза бросается, и в истории останется: «Неужели, в самом деле, такое право турков может так спокойно и безмятежно признавать столь образованный, как Форбес, член столь просвещенной и великой нации, как Англия? Неужели это последние цветы и плоды английской цивилизации?» Но, заметьте себе, он, конечно, бы так не выразился, если б вместо болгар дело шло о французах или об итальянцах. Он потому только выразился так, что это были всего только славяне-болгары. Какое же после этого у них у всех в Европе родовое, кровавое презрение к славянам и славянскому племени! Считаются все равно что за собак! Допускается возможность и разумность прирезать всех до единого, все племя, с женами и детьми. И заметьте еще (это очень важно), это не граф Биконсфильд говорит: тот может выразить такие же разбойничьи и зверские убеждения, принужденный к тому политикой, «английскими интересами», а ведь Форбес – частный человек, не государственный, на которого соблюдение интересов Англии во что бы ни стало и чего бы ни стоило не возложено, да еще человек-то какой: честный, талантливый, правдивый, гуманный, по прежним письмам своим. Тут именно, именно причиной какая-то западноевропейская гадливость ко всему, что носит имя славянства. Этим болгар можно заваривать кипятком, как гнезда клопов в старушечьих деревянных кроватях! Нет ли тут именно какого-нибудь инстинкта, предчувствия, что все эти славянские восточные племена, освободясь, займут когда-нибудь огромную роль в новом грядущем человечестве, вместо сбившейся с правого пути старой цивилизации, и станут на ее место? Сознательно западные люди, конечно, это не могут теперь представить и допустить даже, точно так же как нельзя им представить гнезда клопов – за что-то высшее и грядущее сменить их. Но тут Россия, тут, очевидно, поднята идея совершенно новая, всем на соблазн, на гнев и удивление, тут показалось уже знамя будущего, а так как Россия не «гнездо клопов», как для них болгары, а гигант и сила, не признать которую невозможно, и так как Россия тоже славянская нация, то как, должно быть, эти западные люди ненавидят теперь и Россию в сердцах своих даже инстинктивно, безотчетно, радуясь всякому ее успеху и всякой беде ее! Именно тут инстинкт, тут предчувствие будущего.

Кстати, скажу одно особое словцо о славянах и о славянском вопросе. И давно мне хотелось сказать его. Теперь же именно заговорили вдруг у нас все о скорой возможности мира, то есть, стало быть, о скорой возможности хоть сколько-нибудь разрешить и славянский вопрос. Дадим же волю нашей фантазии и представим вдруг, что все дело кончено, что настояниями и кровью России славяне уже освобождены, мало того, что турецкой империи уже не существует и что Балканский полуостров

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r свободен и живет новою жизнью. Разумеется, трудно предречь, в какой именно форме, до последних подробностей, явится эта свобода славян хоть на первый раз, – то есть будет ли это какая-нибудь федерация между освобожденными мелкими племенами (NB. Федерации, кажется, еще очень, очень долго не будет) или явятся небольшие отдельные владения в виде маленьких государств, с призванными из разных владетельных домов государями? Нельзя также представить: расширится ли наконец в границах своих Сербия или Австрия тому воспрепятствует, в каком объеме явится и Болгария, что станется с Герцеговиной, Боснией, в какие отношения станут с новоосвобожденными славянскими народцами, например, румыны или греки даже, – константинопольские греки и те, другие, афинские греки? Будут ли, наконец, все эти земли и землицы вполне независимы или будут находиться под покровительством и надзором «европейского концерта держав», в том числе и России (я думаю, сами эти народики всенепременно выпросят себе европейский концерт, хоть вместе с Россией, но единственно в виде покровительства их от властолюбия России) – все это невозможно решить заранее в точности, и я не берусь разрешать. Но, однако, возможно и теперь – наверно знать две вещи: 1) что скоро или опять не скоро, а все славянские племена Балканского полуострова непременно в конце концов освободятся от ига турок и заживут новою, свободою и, может быть, независимою жизнью, и 2)... Вот это-то второе, что наверно, вернейшим образом случится и сбудется, мне и хотелось давно высказать.

Именно, это второе состоит в том, что, по внутреннему убеждению моему, самому полному и непреодолимому, – не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными! И пусть не возражают мне, не оспаривают, не кричат на меня, что я преувеличиваю и что я ненавистник славян! Я, напротив, очень люблю славян, но я и защищаться не буду, потому что знаю, что все точно так именно сбудется, как я говорю, и не по низкому, неблагодарному, будто бы, характеру славян, совсем нет, – у них характер в этом смысле как у всех, – а именно потому, что такие вещи на свете иначе и происходить не могут. Распространяться не буду, но знаю, что нам отнюдь не надо требовать с славян благодарности, к этому нам надо приготовиться вперед. Начнут же они, по освобождению, свою новую жизнь, повторяю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но они именно в защиту от России это и сделают. Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшею благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта, а не вмешайся

Европа, так Россия, отняв их у турок, проглотила бы их тотчас же, «имея в виду расширение границ и основание великой Всеславянской империи на порабождении славян жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени». Долго, о, долго еще они не в состоянии будут признать бескорыстия России и великого, святого, неслыханного в мире подвигу ею знамени величайшей идеи, из тех идей, которыми жив человек и без которых человечество, если эти идеи перестанут жить в нем, – коченеет, калечится и умирает в язвах и в бессилии. Нынешнюю, например, всенародную русскую войну, всего русского народа, с царем во главе, поднятую против извергов за освобождение несчастных народностей, – эту войну поняли ли наконец славяне теперь, как вы думаете? Но о теперешнем моменте я говорить не стану, к тому же мы еще нужны славянам, мы их освобождаем, но потом, когда освободим и они кое-как устроятся, – признают они эту войну за великий подвиг, предпринятый для освобождения их, решите-ка это? Да ни за что на свете не признают! Напротив, выставят как политическую, а потом и научную истину, что не будь во все эти сто лет освободительницы-России, так они бы давным-давно сами сумели освободиться от турок, своею доблестью или помощью Европы, которая, опять-таки не будь на свете России, не только бы не имела ничего против их освобождения, но и сама освободила бы их. Это хитрое учение наверно существует у них уже и теперь, а впоследствии оно неминуемо разовьется у них в научную и политическую аксиому. Мало того, даже о турках станут говорить с большим уважением, чем об России. Может быть, целое столетие, или еще более, они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России; они будут заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на нее и интриговать против нее. О, я не говорю про отдельные лица: будут такие, которые поймут, что значила, значит и будет значить Россия для них всегда.

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
Они поймут все величие и всю святость дела России и великой идеи, знамя которой поставит она в человечестве. Но люди эти, особенно вначале, явятся в таком жалком меньшинстве, что будут подвергаться насмешкам, ненависти и даже политическому гонению. Особенно приятно будет для освобожденных славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия – страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации. У них, конечно, явятся, с самого начала, конституционное управление, парламенты, ответственные министры, ораторы, речи. Их будет это чрезвычайно утешать и восхищать. Они будут в упоении, читая о себе в парижских и в лондонских газетах телеграммы, извещающие весь мир, что после долгой парламентской бури пало наконец министерство в Болгарии и составилось новое из либерального большинства и что какой-нибудь ихний Иван Чифтлик согласился наконец принять портфель президента совета министров. России надо серьезно приготовиться к тому, что все эти освобожденные славяне с упоением ринутся в Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами, политическими и социальными, и таким образом должны будут пережить целый и длинный период европеизма прежде, чем постигнуть хоть что-нибудь в своем славянском значении и в своем особом славянском призвании в среде человечества. Между собой эти землицы будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и друг против друга интриговать. Разумеется, в минуту какой-нибудь серьезной беды они всенепременно обратятся к России за помощью. Как ни будут они ненавистничать, сплетничать и клеветать на нас Европе, заигрывая с нею и уверяя ее в любви, но чувствовать-то они всегда будут инстинктивно (конечно, в минуту беды, а не раньше), что Европа естественный враг их единству, была им и всегда останется, а что если они существуют на свете, то, конечно, потому, что стоит огромный магнит – Россия, которая, неодолимо притягивая их всех к себе, тем сдерживает их целость и единство. Будут даже и такие минуты, когда они будут в состоянии почти уже сознательно согласиться, что не будь России, великого восточного центра и великой влекущей силы, то единство их мигом бы развалилось, рассеялось в клочки и даже так, что самая национальность их исчезла бы в европейском океане, как исчезают несколько отдельных капель воды в море. России надолго достанется тоска и забота мирить их, вразумлять их и даже, может быть, обнажать за них меч при случае. Разумеется, сейчас же представляется вопрос: в чем же тут выгода России, из-за чего Россия билась за них сто лет, жертвовала кровью своею, силами, деньгами? Неужто из-за того, чтоб пожалеть столько маленькой, смешной ненависти и неблагодарности? О, конечно, Россия все же всегда будет сознать, что центр славянского единства – это она, что если живут славяне свободною национальною жизнью, то потому, что этого захотела и хочет она, что совершила и создала все она. Но какую же выгоду доставит России это сознание, кроме трудов, досад и вечной заботы?

Ответ теперь труден и не может быть ясен. Во-первых, у России, как нам всем известно, и мысли не будет, и быть не должно никогда, чтобы расширить насчет славян свою территорию, присоединить их к себе политически, наделав из их земель губерний и проч. Все славяне подозревают Россию в этом стремлении даже теперь, равно как и вся Европа, и будут подозревать еще сто лет вперед. Но да сохранит бог Россию от этих стремлений, и чем более она выкажет самого полного политического бескорыстия относительно славян, тем вернее достигнет объединения их около себя впоследствии, в веках, сто лет спустя. Доставив, напротив, славянам, с самого начала, как можно более политической свободы и устранив себя даже от всякого опекуновства и надзора над ними и объявив им только, что она всегда обнажит меч на тех, которые посягнут на их свободу и национальность, Россия тем самым избавит себя от страшных забот и хлопот поддерживать силою это опекуновство и политическое влияние свое на славян, им, конечно, ненавистное, а Европе всегда подозрительное. Но выказав полнейшее бескорыстие, тем самым Россия и победит, и привлечет, наконец, к себе славян; сначала в беде будут прибегать к ней, а потом, когда-нибудь, воротятся к ней и прильнут к ней все, уже с полной, с детской доверенностью. Все воротятся в родное гнездо. О, конечно, есть разные ученые и поэтические даже воззрения и теперь в среде многих русских. Эти русские ждут, что новые, освобожденные и воскресшие в новую жизнь славянские народности с того и начнут, что прильнут к России, как к родной матери и освободительнице, и что несомненно и в самом скором времени привнесут много новых и еще не слыханных элементов в русскую жизнь, расширят славянство России, душу России, повлияют даже на русский язык, литературу, творчество, обогатят Россию духовно и укажут ей новые горизонты. Признаюсь, мне всегда казалось это у нас лишь учеными увлечениями; правда же в том, что, конечно, что-нибудь произойдет в этом роде несомненно, но не ранее ста, например, лет, а пока, и, может быть, еще целый

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r. век, России вовсе нечего будет брать у славян ни из идей их, ни из литературы, и чтоб учить нас, все они страшно не доросли. Напротив, весь этот век, может быть, придется России бороться с ограниченностью и упорством славян, с их дурными привычками, с их несомненной и близкой изменой славянству ради европейских форм политического и социального устройства, на которые они жадно накинута. После разрешения Славянского вопроса России, очевидно, предстоит окончательное разрешение Восточного вопроса. Долго еще не поймут теперешние славяне, что такое Восточный вопрос! Да и славянского единения в братстве и согласии они не поймут тоже очень долго. Объяснять им это беспрерывно, делом и великим примером будет всегдашней задачей России впредь. Опять-таки скажут: для чего это все, наконец, и зачем брать России на себя такую заботу? Для чего: для того, чтоб жить высшею жизнью, великою жизнью, светить миру великой, бескорыстной и чистой идеей, воплотить и создать в конце концов великий и мощный организм братского союза племен, создать этот организм не политическим насилием, не мечом, а убеждением, примером, любовью, бескорыстием, светом; вознести наконец всех малых сих до себя и до понятия ими материнского ее призвания – вот цель России, вот и выгоды ее, если хотите. Если нации не будут жить высшими, бескорыстными идеями и высшими целями служения человечеству, а только будут служить одним своим «интересам», то погибнут эти нации несомненно, окоченеют, обессилеют и умрут.

Могила Ф.М. Достоевского в Александро-Невской Лавре, на Тихвинском кладбище

А выше целей нет, как те, которые поставит перед собой Россия, служа славянам бескорыстно и не требуя от них благодарности, служа их нравственному (а не политическому лишь) воссоединению в великое целое. Тогда только скажет всеславянство свое новое целительное слово человечеству. Выше таких целей не бывает никаких на свете. Стало быть, и «выгоднее» ничего не может быть для России, как иметь всегда перед собой эти цели, все более и более уяснять их себе самой и все более и более возвышаться духом в этой вечной, неустанной и доблестной работе своей для человечества.

Будь окончание нынешней войны благополучно – и Россия несомненно войдет в новый и высший фазис своего бытия.

Речь о Пушкине

Разъяснение

Речь моя о Пушкине и о значении его, помещаемая ниже и составляющая основу содержания настоящего выпуска «Дневника писателя» (единственного выпуска за 1880 год), была произнесена 8 июня сего года в торжественном заседании Общества любителей российской словесности, при многочисленной публике, и произвела значительное впечатление. Иван Сергеевич Аксаков, сказавший тут же о себе, что его считают все как бы предводителем славянофилов, заявил с кафедры, что моя речь «составляет событие». Не для похвалы вспоминаю это теперь, а для того, чтобы заявить вот что: если моя речь составляет событие, то только с одной и единственной точки зрения, которую обозначу ниже. Для сего и пишу это предисловие. Собственно же в речи моей я хотел обозначить лишь следующие четыре пункта в значении Пушкина для России.

1) То, что Пушкин первый своим глубоко прозорливым и гениальным умом и чисто русским сердцем своим отыскал и отметил главнейшее и болезненное явление нашего интеллигентного, исторически оторванного от почвы общества, возвысившегося над народом. Он отметил и выпукло поставил перед нами отрицательный тип наш, человека, беспокоящегося и не примиряющегося, в родную почву и в родные силы ее не верующего, Россию и себя самого (то есть свое же общество, свой же интеллигентный слой, возникший над родной почвой нашей) в конце концов отрицающего, делать с другими не желающего и искренно страдающего. Алеко и Онегин породили потом множество подобных себе в нашей художественной литературе. За ними выступили Печорины, Чичиковы, Рудины и Лаврецькие, Болконские (в «Войне и мире» Льва Толстого) и множество других, уже появлением своим засвидетельствовавшие о правде первоначально данной мысли Пушкиным. Ему честь и слава, его громадному уму и гению, отметившему самую болезненную язву составившегося у нас после великой петровской реформы общества. Его искусному диагнозу мы обязаны обозначением и распознаванием болезни нашей, и он же, он первый, дал и утешение: ибо он же дал и великую надежду, что болезнь эта не смертельна и что русское общество может быть излечено, может вновь обновиться и воскреснуть, если

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfedor.r присоединится к правде народной, ибо

2) Он первый (именно первый, а до него никто) дал нам художественные типы красоты русской, вышедшей прямо из духа русского, обретавшейся в народной правде, в почве нашей, и им в ней отысканные. Свидетельствуют о том типы Татьяны, женщины совершенно русской, уберегшей себя от наносной лжи, типы исторические, как, например, Инок и другие в «Борисе Годунове», типы бытовые, как в «Капитанской дочке» и во множестве других образов, мелькающих в его стихотворениях, в рассказах, в записках, даже в «Истории Пугачевского бунта». Главное же, что надо особенно подчеркнуть, – это то, что все эти типы положительной красоты человека русского и души его взяты всецело из народного духа. Тут уже надобно говорить всю правду: не в нынешней нашей цивилизации, не в «европейском» так называемом образовании (которого у нас, к слову сказать, никогда и не было), не в уродливостях внешне усвоенных европейских идей и форм указал Пушкин эту красоту, а единственно в народном духе нашел ее, и только в нем. Таким образом, повторяю, обозначив болезнь, дал и великую надежду: «Уверуйте в дух народный и от него единого ждите спасения и будете спасены». Вникнув в Пушкина, не сделать такого вывода невозможно.

Третий пункт, который я хотел отметить в значении Пушкина, есть та особая характернейшая и не встречаемая кроме него нигде и ни у кого черта художественного гения – способность всемирной отзывчивости и полнейшего перевоплощения в гении чужих наций, и перевоплощения почти совершенного. Я сказал в моей речи, что в Европе были величайшие художественные мировые гении: Шекспир, Сервантесы, Шиллеры, но что ни у кого из них не видим этой способности, а видим ее только у Пушкина. Не в отзывчивости одной тут дело, а именно в изумляющей полноте перевоплощения. Эту способность, понятно, я не мог не отметить в оценке Пушкина, именно как характернейшую особенность его гения, принадлежащую из всех всемирных художников ему только одному, чем и отличается он от них от всех. Но не для умаления такой величины европейских гениев, как Шекспир и Шиллер, сказал я это; такой глупенький вывод из моих слов мог бы сделать только дурак. Всемирность, всепонятность и неисследимая глубина мировых типов человека арийского племени, данных Шекспиром на веки веков, не подвергается мною ни малейшему сомнению. И если б Шекспир создал Отелло действительно венецианским мавром, а не англичанином, то только придал бы ему ореол местной национальной характерности, мировое же значение этого типа осталось бы по-прежнему то же самое, ибо и в итальянце он выразил бы то же самое, что хотел сказать, с такою же силою. Повторяю, не на мировое значение Шекспиров и Шиллеров хотел я посягнуть, обозначая гениальнейшую способность Пушкина перевоплощаться в гении чужих наций, а желая лишь в самой этой способности и в полноте ее отметить великое и пророческое для нас указание, ибо

4) Способность эта есть всецело способность русская, национальная, и Пушкин только делит ее со всем народом нашим, и, как совершеннейший художник, он есть и совершеннейший выразитель этой способности, по крайней мере в своей деятельности, в деятельности художника. Народ же наш именно заключает в душе своей эту склонность к всемирной отзывчивости и к всепримирению и уже проявил ее во все двухсотлетие с петровской реформы не раз. Обозначая эту способность народа нашего, я не мог не выставлять в то же время, в факте этом, и великого утешения для нас в нашем будущем, великой и, может быть, величайшей надежды нашей, светящей нам впереди. Главное, я обозначил то, что стремление наше в Европу, даже со всеми увлечениями и крайностями его, было не только законно и разумно, в основании своем, но и народно, совпадало вполне с стремлениями самого духа народного, а в конце концов бесспорно имеет и высшую цель. В краткой, слишком краткой речи моей я, конечно, не мог развить мою мысль во всей полноте, но, по крайней мере, то, что высказано, кажется, ясно. И не надо, не надо возмущаться сказанным мною, «что нищая земля наша, может быть, в конце концов скажет новое слово миру». Смешно тоже и уверять, что прежде чем сказать новое слово миру «надобно нам самим развиться экономически, научно и гражданственно, и тогда только мечтать о «новых словах» таким совершенным (будто бы) организмам, как народы Европы». Я именно напеваю в моей речи, что и не пытаюсь равнять русский народ с народами западными в сферах их экономической славы или научной. Я просто только говорю, что русская душа, что гений народа русского, может быть, наиболее способны, из всех народов, вместить в себе идею всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего и извиняющего несходное, снимающего противоречия. Это не экономическая черта и не какая другая, это лишь нравственная черта, и может ли кто отрицать и оспорить, что ее нет в народе русском? Может ли кто сказать, что русский народ

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
есть только косная масса, осужденная лишь служить экономически преуспейанию и развитию европейской интеллигенции нашей, возвысившейся над народом нашим, сама же в себе заключает лишь мертвую косность, от которой ничего и не следует ожидать и на которую совсем нечего возлагать никаких надежд? Увы, так многие утверждают, но я рискнул объявить иное. Повторяю, я, конечно, не мог доказать «этой фантазии моей», как я сам выразился, обстоятельно и со всею полнотою, но я не мог и не указать на нее. Утверждать же, что нищая и неурядная земля наша не может заключать в себе столь высокие стремления, пока не сделается экономически и гражданственно подобною Западу, – есть уже просто нелепость. Основные нравственные сокровища духа, в основной сущности своей по крайней мере, не зависят от экономической силы. Наша нищая неурядная земля, кроме высшего слоя своего, вся сплошь как один человек. Все восемьдесят миллионов ее населения представляют собою такое духовное единение, какого, конечно, в Европе нет нигде и не может быть, а, стало быть, уже по сему одному нельзя сказать, что наша земля неурядна, даже в строгом смысле нельзя сказать, что и нищая. Напротив, в Европе, в этой Европе, где накоплено столько богатств, все гражданское основание всех европейских наций – все подкопано и, может быть, завтра же рухнет бесследно на веки веков, а взамен наступит нечто неслыханно новое, ни на что прежнее не похожее. И все богатства, накопленные Европой, не спасут ее от падения, ибо «в один миг исчезнет и богатство». Между тем на этот, именно на этот подкопанный и зараженный их гражданский строй и указывают народу нашему как на идеал, к которому он должен стремиться, и лишь по достижении им этого идеала осмелиться пролепетать свое какое-либо слово Европе. Мы же утверждаем, что вмещать и носить в себе силу любящего и всеединящего духа можно и при теперешней экономической нищете нашей, да и не при такой еще нищете, как теперь. Ее можно сохранять и вмещать в себе даже и при такой нищете, какая была после нашествия Батыева или после погрома Смутного времени, когда единственно всеединящим духом народным была спасена Россия. И наконец, если уж в самом деле так необходимо надо, для того чтоб иметь право любить человечество и носить в себе всеединящую душу, для того чтоб заключать в себе способность не ненавидеть чужие народы за то, что они непохожи на нас; для того чтоб иметь желание не укрепляться от всех в своей национальности, чтоб ей только одной все досталось, а другие национальности считать только за лимон, который можно выжать (а народы такого духа ведь есть в Европе!), – если и в самом деле для достижения всего этого надо, повторяю я, предварительно стать народом богатым и перетащить к себе европейское гражданское устройство, то неужели все-таки мы и тут должны рабски скопировать это европейское устройство (которое завтра же в Европе рухнет)? Неужели и тут не дадут и не позволят русскому организму развиваться национально, своей органической силой, а непременно обезличенно, лакейски подражая Европе? Да куда же девать тогда русский-то организм? Понимают ли эти господа, что такое организм? А еще толкуют о естественных науках! «Этого народ не позволит», – сказал по одному поводу, года два назад, один собеседник одному ярому западнику. «Так уничтожить народ!» – ответил западник спокойно и величаво. И был он не кто-нибудь, а один из представителей нашей интеллигенции. Анекдот этот верен.

Четырьмя этими пунктами я обозначил значение для нас Пушкина, и речь моя, повторяю, произвела впечатление. Не заслугами своими произвела она это впечатление (я напираю на это), не талантливостью изложения (соглашаюсь в этом со всеми моими противниками и не хвалюсь), а искренностью ее и, осмелюсь сказать это, – некоторою неотразимостью выставленных мною фактов, несмотря на всю краткость и неполноту моей речи. Но в чем же, однако, заключалось «событие»-то, как выразился Иван Сергеевич Аксаков? А вот именно в том, что славянофилами, или так называемой русской партией (боже, у нас есть «русская партия»!), сделан был огромный и окончательный, может быть, шаг к примирению с западниками; ибо славянофилы заявили всю законность стремления западников в Европу, всю законность даже самых крайних увлечений и выводов их и объяснили эту законность чисто русским народным стремлением нашим, совпадаемым с самим духом народным. Увлечения же оправдали – историческою необходимостью, историческим фатумом, так что в конце концов и в итоге, если когда-нибудь будет он подведен, обозначится, что западники ровно столько же послужили русской земле и стремлениям духа ее, как и все те чисто русские люди, которые искренно любили родную землю и слишком, может быть, ревниво оберегали ее доселе от всех увлечений «русских иноземцев». Объявлено было, наконец, что все недоумения между обеими партиями и все злые препирания между ними были доселе лишь одним великим недоразумением. Вот это-то и могло бы стать, пожалуй, «событием», ибо представители славянофильства тут же, сейчас же после речи моей, вполне согласились со всеми ее выводами. Я же заявляю теперь – да и заявил это в самой речи моей, – что честь этого нового шага (если только искреннейшее желание примирения составляет честь), что заслуга этого

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
нового, если хотите, слова вовсе не мне одному принадлежит, а всему славянофильству, всему духу и направлению «партии» нашей, что это всегда было ясно для тех, которые беспристрастно вникали в славянофильство, что идея, которую я высказал, была уже не раз если не высказываема, то указывается ими. Я же сумел лишь вовремя уловить минуту. Теперь вот заключение: если западники примут наш вывод и согласятся с ним, то и впрямь, конечно, уничтожатся все недоразумения между обеими партиями, так что «западникам и славянофилам не о чем будет и спорить», как выразился Иван Сергеевич Аксаков, так как все отныне разъяснено». С этой точки зрения, конечно, речь моя была бы «событием». Но увы, слово «событие» произнесено было лишь в искреннем увлечении с одной стороны, но примется ли другою стороною и не останется лишь в идеале, это уже совсем другой вопрос. Рядом с славянофилами, обнимавшими меня и жавшими мне руку, тут же на эстраде, едва лишь я сошел с кафедры, подошли ко мне пожать мою руку и западники, и не какие-нибудь из них, а передовые представители западничества, занимающие в нем первую роль, особенно теперь. Они жали мне руку с таким же горячим и искренним увлечением, как славянофилы, и называли мою речь гениальною, и несколько раз, напирая на слово это, произнесли, что она гениальна. Но боюсь, боюсь искренно: не в первых ли «попыхах» увлечения произнесено было это! О, не того боюсь я, что они откажутся от мнения своего, что моя речь гениальна, я ведь и сам знаю, что она не гениальна, и несколько не был обольщен похвалами, так что от всего сердца прошу им их разочарование в моей гениальности, – но вот что, однако же, может случиться, вот что могут сказать западники, чуть-чуть подумав (Nota bene, я не об тех пишу, которые жали мне руку, я лишь вообще о западниках теперь скажу, на это я напирал): «А, – скажут, может быть, западники (слышите: только «может быть», не более), – а, вы согласились-таки наконец после долгих споров и препираний, что стремление наше в Европу было законно и нормально, вы признали, что на нашей стороне тоже была правда, и склонили ваши знамена, – что ж, мы принимаем ваше признание радушно и спешим заявить вам, что с вашей стороны это даже довольно недурно: обозначает, по крайней мере, в вас некоторый ум, в котором, впрочем, мы вам никогда не отказывали, за исключением разве самых тупейших из наших, за которых мы отвечать не хотим и не можем, – но тут, видите ли, является опять некоторая новая запятая, и это надобно как можно скорее разъяснить».

Дело в том, что ваше-то положение, ваш-то вывод о том, что мы в увлечениях наших совпадали будто бы с народным духом и таинственно направлялись им, ваше-то это положение – все-таки остается для нас более чем сомнительным, а потому и соглашение между нами опять-таки становится невозможным. Знайте, что мы направлялись Европой, наукой ее и реформой Петра, но уж отнюдь не духом народа нашего, ибо духа этого мы не встречали и не обоняли на нашем пути, напротив – оставили его назади и поскорее от него убежали. Мы с самого начала пошли самостоятельно, а вовсе не следуя какому-то будто бы влекущему инстинкту народа русского ко всемирной отзывчивости и к всеединению человечества, – ну, одним словом, ко всему тому, о чем вы теперь столько наговорили. В народе русском, так как уж пришло время высказаться вполне откровенно, мы по-прежнему видим лишь косную массу, у которой нам нечему учиться, тормозящую, напротив, развитие России к прогрессивному лучшему, и которую всю надо пересоздать и переделать, – если уж невозможно и нельзя органически, то, по крайней мере, механически, то есть попросту заставив ее раз навсегда нас слушаться, во веки веков. А чтобы достигнуть сего послушания, вот и необходимо усвоить себе гражданское устройство точь-в-точь как в европейских землях, о котором именно теперь пошла речь. Собственно же народ наш нищ и смерд, каким он был всегда, и не может иметь ни лица, ни идеи. Вся история народа нашего есть абсурд, из которого вы до сих пор черт знает что выводили, а смотрели только мы трезво. Надобно, чтоб такой народ, как наш, – не имел истории, а то, что имел под видом истории, должно быть с отвращением забыто им, все целиком. Надобно, чтоб имело историю лишь одно наше интеллигентное общество, которому народ должен служить лишь своим трудом и своими силами.

Позвольте, не беспокойтесь и не кричите: не закабалить народ наш мы хотим, говоря о послушании его, о, конечно, нет! не выводите, пожалуйста, этого: мы гуманны, мы европейцы, вы слишком знаете это. Напротив, мы намерены образовать наш народ помаленьку, в порядке, и увенчать наше здание, вознеся народ до себя и переделав его национальность уже в иную, какая там сама наступит после образования его. Образование же его мы оснуем и начнем, с чего сами начали, то есть на отрицании им всего его прошлого и на проклятии, которому он сам должен предать свое прошлое. Чуть мы выучим человека из народа грамоте, тотчас же и заставим его нюхнуть Европы, тотчас же начнем обольщать его Европой, ну хотя бы

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
утонченностью быта, приличий, костюма, напитков, танцев, – словом, заставим его устыдиться своего прежнего лаптя и квасу, устыдиться своих древних песен, и хотя из них есть несколько прекрасных и музыкальных, но мы все-таки заставим его петь рифмованный водевиль, сколь бы вы там ни сердились на это. Одним словом, для доброй цели мы, многочисленнейшими и всякими средствами, подействуем прежде всего на слабые струны характера, как и с нами было, и тогда народ – наш. Он застыдится своего прежнего и проклянет его. Кто проклянет свое прежнее, тот уже наш, – вот наша формула! Мы ее всецело приложим, когда примемся возносить народ до себя. Если же народ окажется неспособным к образованию, то – «устранить народ». Ибо тогда выставится уже ясно, что народ наш есть только недостойная, варварская масса, которую надо заставить лишь слушаться. Ибо что же тут делать: в интеллигенции и в Европе лишь правда, а потому хоть у вас и восемьдесят миллионов народу (чем вы, кажется, хвастаетесь), но все эти миллионы должны прежде всего послужить этой европейской правде, так как другой нет и не может быть. Количеством же миллионов нас не испугаете. Вот всегдашний наш вывод, только теперь уж во всей наготе, и мы остаемся при нем. Не можем же мы, приняв ваш вывод, толковать вместе с вами, например, о таких странных вещах, как *le Pravoslavie* и какое-то будто бы особое значение его. Надеемся, что вы от нас хотя этого-то не потребуете, особенно теперь, когда последнее слово Европы и европейской науки в общем выводе есть атеизм, просвещенный и гуманный, а мы не можем же не идти за Европой.

А потому ту половину произнесенной речи, в которой вы высказываете нам похвалы, мы, пожалуй, согласимся принять с известными ограничениями, так и быть, сделаем вам эту любезность. Ну, а ту половину, которая относится к вам и ко всем этим вашим «началам» – уж извините, мы не можем принять. Вот какой может быть грустный вывод. Повторяю: я не только не осмелюсь вложить этот вывод в уста тех западников, которые жали мне руку, но и в уста многих, очень многих, просвещеннейших из них, русских деятелей и вполне русских людей, несмотря на их теории, почтенных и уважаемых русских граждан. Но зато масса-то, масса-то оторвавшихся и отщепенцев, масса-то вашего западничества, середина-то, улица-то, по которой влачится идея, – все эти смерды-то «направления» (а их как песку морского), о, там непременно насажут в этом роде и, может быть, даже уж и насажали. (*Nota bene.* Насчет веры, например, уже было заявлено в одном издании, со всем свойственным ему остроумием, что цель славянофилов – это перекрестить всю Европу в православие.) Но отбросим мрачные мысли и будем надеяться на передовых представителей нашего европеизма. И если они примут хоть только половину нашего вывода и наших надежд на них, то честь им и слава и за это, и мы встретим их в восторге нашего сердца. Если даже одну половину примут они, то есть признают хоть самостоятельность и личность русского духа, законность его бытия и человеколюбивое, все-единящее его стремление, то и тогда уже будет почти не о чем спорить, по крайней мере из основного, из главного. Тогда действительно моя речь послужила бы к основанию нового события. Не она сама, повторяю в последний раз, была бы событием (она не достойна такого наименования), а великое Пушкинское торжество, послужившее событием нашего единения – единения уже всех образованных и искренних русских людей для будущей прекраснейшей цели.

Пушкин (очерк).

Произнесено 8 июня 1880 года в заседании Общества любителей российской словесности

«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа», – сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое. Да, в появлении его заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое. Пушкин как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с петровской реформы, и появление его сильно способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом.

В этом-то смысле Пушкин есть пророчество и указание. Я делю деятельность нашего великого поэта на три периода. Говорю теперь не как литературный критик: касаясь творческой деятельности Пушкина, я хочу лишь разъяснить мою мысль о пророческом для нас значении его и что я в этом слове разумею. Замечу, однако же, мимоходом, что периоды деятельности Пушкина не имеют, кажется мне, твердых между собою границ.

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r

Начало «Онегина», например, принадлежит, по-моему, еще к первому периоду деятельности поэта, а кончается «Онегин» во втором периоде, когда Пушкин нашел уже свои идеалы в родной земле, воспринял и возлюбил их всецело своею любящею и прозорливою душой. Принято тоже говорить, что в первом периоде своей деятельности Пушкин подражал европейским поэтам, Парни, Андре Шенье и другим, особенно Байрону. Да, без сомнения, поэты Европы имели великое влияние на развитие его гения, да и сохраняли влияние это во всю его жизнь. Тем не менее даже самые первые поэмы Пушкина были не одним лишь подражанием, так что и в них уже выразилась чрезвычайная самостоятельность его гения. В подражаниях никогда не появляется такой самостоятельности страдания и такой глубины самосознания, которые явил Пушкин, например, в «Цыганах» – поэме, которую я всецело отношу еще к первому периоду его творческой деятельности. Не говорю уже о творческой силе и о стремительности, которой не явилось бы столько, если б он только лишь подражал. В tipe Алеко, герою поэмы «Цыгане», сказывается уже сильная и глубокая, совершенно русская мысль, выраженная потом в такой гармонической полноте в «Онегине», где почти тот же Алеко является уже не в фантастическом свете, а в осязаемо реальном и понятном виде. В Алеко Пушкин уже отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем. Отыскал же он его, конечно, не у Байрона только. Тип этот верный и схвачен безошибочно, тип постоянный и надолго у нас, в нашей Русской земле, поселившийся. Эти русские бездомные скитальцы продолжают и до сих пор свое скитальчество и еще долго, кажется, не исчезнут. И если они не ходят уже в наше время в цыганские таборы искать у цыган в их диком своеобразном быте своих мировых идеалов и успокоения на лоне природы от сбивчивой и нелепой жизни нашего русского – интеллигентного общества, то все равно ударяются в социализм, которого еще не было при Алеко, ходят с новою верой на другую ниву и работают на ней ревностно, веруя, как и Алеко, что достигнут в своем фантастическом делании целей своих и счастья не только для себя самого, но и всемирного. Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится, – конечно, пока дело только в теории. Это все тот же русский человек, только в разное время явившийся. Человек этот, повторяю, зародился как раз в начале второго столетия после великой петровской реформы, в нашем интеллигентном обществе, оторванном от народа, от народной силы. О, огромное большинство интеллигентных русских, и тогда, при Пушкине, как и теперь, в наше время, служили и служат мирно в чиновниках, в казне или на железных дорогах и в банках, или просто наживают разными средствами деньги, или даже и науками занимаются, читают лекции – и все это регулярно, лениво и мирно, с получением жалованья, с игрой в преферанс, безо всякого поползновения бежать в цыганские таборы или куда-нибудь в места, более соответствующие нашему времени. Много-много что полиберальничают «с оттенком европейского социализма», но которому придан некоторый благодушный русский характер, – но ведь все это вопрос только времени. Что в том, что один еще и не начинал беспокоиться, а другой уже успел дойти до запертой двери и об нее крепко стукнулся лбом. Всех в свое время то же самое ожидает, если не выйдут на спасительную дорогу смиренного общения с народом. Да пусть и не всех ожидает это: довольно лишь «избранных», довольно лишь десятой доли забеспокоившихся, чтоб и остальному огромному большинству не видать чрез них покоя. Алеко, конечно, еще не умеет правильно высказать тоски своей: у него все это как-то еще отвлеченно, у него лишь тоска по природе, жалоба на светское общество, мировые стремления, плач о потерянной где-то и кем-то правде, которую он никак отыскать не может. Тут есть немножко Жан-Жака Руссо. В чем эта правда, где и в чем она могла бы явиться и когда именно она потеряна, конечно, он и сам не скажет, но страдает он искренно. Фантастический и нетерпеливый человек жаждет спасения пока лишь преимущественно от явлений внешних; да так и быть должно: «Правда, дескать, где-то вне его, может быть, где-то в других землях, европейских, например, с их твердым историческим строем, с их установившеюся общественною и гражданскою жизнью». И никогда-то он не поймет, что правда прежде всего внутри его самого, да и как понять ему это: он ведь в своей земле сам не свой, он уже целым веком отучен от труда, не имеет культуры, рос как институтка в закрытых стенах, обязанности исполнял странные и безотчетные по мере принадлежности к тому или другому из четырнадцати классов, на которые разделено образованное русское общество. Он пока всего только оторванная, носящаяся по воздуху былинка. И он это чувствует и этим страдает, и часто так мучительно! Ну и что же в том, что, принадлежа, может быть, к родовому дворянству и, даже весьма вероятно, обладая крепостными людьми, он позволил себе, по волиности своего дворянства, маленькую фантазийку прельститься людьми, живущими «без закона», и на время стал в цыганском таборе водить и показывать Мишку? Понятно, женщина, «дикая женщина», по выражению одного поэта, всего

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r скорее могла подать ему надежду на исход тоски его, и он с легкомысленною, но страстною верой бросается к Земфире: «Вот, дескать, где исход мой, вот где, может быть, мое счастье здесь, на лоне природы, далеко от света, здесь, у людей, у которых нет цивилизации и законов!» И что же оказывается: при первом столкновении своем с условиями этой дикой природы он не выдерживает и обагрят свои руки кровью. Не только для мировой гармонии, но даже и для цыган не пригодился несчастный мечтатель, и они выгоняют его – без отмщения, без злобы, величаво и простодушно: «Оставь нас, гордый человек; Мы дики, нет у нас законов, Мы не терзаем, не казним».

Все это, конечно, фантастично, но «гордый-то человек» реален и метко схвачен. В первый раз схвачен он у нас Пушкиным, и это надо запомнить. Именно, именно, чуть не по нем, и он злобно растерзает и казнит за свою обиду или, что даже удобнее, вспомнив о принадлежности своей к одному из четырнадцати классов, сам возопиет, может быть (ибо случилось и это), к закону, терзающему и казнящему, и призовет его, только бы отомщена была личная обида его. Нет, эта гениальная поэма не подражание! Тут уже подсказывается русское решение вопроса, «проклятого вопроса», по народной вере и правде: «Смирись, гордый человек и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве», вот это решение по народной правде и народному разуму. «Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоём собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя – и станешь свободен как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь наконец народ свой и святую правду его. Не у цыган и нигде мировая гармония, если ты первый сам ее недостоеин, злобен и горд и требуешь жизни даром, даже и не предполагая, что за нее надобно заплатить». Это решение вопроса в поэме Пушкина уже сильно подсказано. Еще яснее выражено оно в «Евгении Онегине», поэме уже не фантастической, но осязательно реальной, в которой воплощена настоящая русская жизнь с такою творческою силой и с такою законченностью, какой и не бывало до Пушкина, да и после его, пожалуй.

Онегин приезжает из Петербурга – непременно из Петербурга, это несомненно необходимо было в поэме, и Пушкин не мог упустить такой крупной реальной черты в биографии своего героя. Повторяю опять, это тот же Алеко, особенно потом, когда он восклицает в тоске: «Зачем, как тульский заседатель, Я не лежу в параличе?»

Но теперь, в начале поэмы, он пока еще наполовину фат и светский человек, и слишком еще мало жил, чтоб успеть вполне разочароваться в жизни. Но и его уже начинает посещать и беспокоить «бес благородный скуки тайной».

В глуши, в сердце своей родины, он, конечно, не у себя, он не дома. Он не знает, что ему тут делать, и чувствует себя как бы у себя же в гостях. Впоследствии, когда он скитается в тоске по родной земле и по землям иностранным, он, как человек бесспорно умный и бесспорно искренний, еще более чувствует себя и у чужих себе самому чужим. Правда, и он любит родную землю, но ей не доверяет. Конечно, слышал и об родных идеалах, но им не верит. Верит лишь в полную невозможность какой бы то ни было работы на родной ниве, а на верующих в эту возможность, – и тогда, как и теперь, немногих, – смотрит с грустною насмешкой. Ленского он убил просто от хандры, почем знать, может быть, от хандры по мировому идеалу, – это слишком по-нашему, это вероятно. Не такова Татьяна: это тип твердый, стоящий твердо на своей почве. Она глубже Онегина и, конечно, умнее его. Она уже одним благородным инстинктом своим предчувствует, где и в чем правда, что и выразилось в финале поэмы. Может быть, Пушкин даже лучше бы сделал, если бы назвал свою поэму именем Татьяны, а не Онегина, ибо бесспорно она главная героиня поэмы. Это положительный тип, а не отрицательный, это тип положительной красоты, это апофеоза русской женщины, и ей предназначил поэт высказать мысль поэмы в знаменитой сцене последней встречи Татьяны с Онегиным. Можно даже сказать, что такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей художественной литературе – кроме разве образа Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева. Но манера глядеть свысока сделала то, что Онегин совсем даже не узнал Татьяну, когда встретил ее в первый раз, в глуши, в скромном образе чистой, невинной девушки, так оробевшей пред ним с первого разу. Он не сумел отличить в бедной девочке законченности и совершенства и действительно, может быть, принял ее за «нравственный эмбрион». Это она-то эмбрион, это после письма-то ее к Онегину! Если есть кто нравственный эмбрион в поэме, так это, конечно, он сам, Онегин, и это бесспорно. Да и совсем не мог он

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
узнать ее: разве он знает душу человеческую? Это отвлеченный человек, это беспокойный мечтатель во всю его жизнь. Не узнал он ее и потом, в Петербурге, в образе знатной дамы, когда, по его же словам, в письме к Татьяне, «постигал душой все ее совершенства». Но это только слова: она прошла в его жизни мимо него, не узнанная и не оцененная им; в том и трагедия их романа. О, если бы тогда, в деревне при первой встрече с нею, прибыл туда же из Англии Чайльд-Гарольд или даже, как-нибудь, сам лорд Байрон и, заметив ее робкую, скромную прелесть, указал бы ему на нее – о, Онегин тотчас же был бы поражен и удивлен, ибо в этих мировых страдальцах так много подчас лакейства духовного! Но этого не случилось, и искатель мировой гармонии, прочтя ей проповедь и поступив все-таки очень честно, отправился с мировую тоскою своею и с пролитую в глупенькой злости кровью на руках своих скитаться по родине, не примечая ее, и, кипя здоровьем и силою, восклицать с проклятиями: «Я молод, жизнь во мне крепка, чего мне ждать, тоска, тоска!»

Это поняла Татьяна. В бессмертных строфах романа поэт изобразил ее посетившую дом этого столь чудного и загадочного еще для нее человека. Я уже не говорю о художественности, недостижимой красоте и глубине этих строк. Вот она в его кабинете, она разглядывает его книги, вещи, предметы, старается угадать по ним душу его, разгадать свою загадку, и «нравственный эмбрион» останавливается наконец в раздумье, со странною улыбкой, с предчувствием разрешения загадки, и губы ее тихо шепчут: «Уж не пародия ли он?»

Да, она должна была прошептать это, она разгадала. В Петербурге, потом, спустя долго, при новой встрече их, она уже совершенно его знает. Кстати, кто сказал, что светская, придворная жизнь тлетворно коснулась ее души и что именно сан светской дамы и новые светские понятия были отчасти причиной отказа ее Онегину? Нет, это не так было. Нет, это та же Таня, та же прежняя деревенская Таня! Она не испорчена, она, напротив, удручена этою пышною петербургскою жизнью, надломлена и страдает; она ненавидит свой сан светской дамы, и кто судит о ней иначе, тот совсем не понимает того, что хотел сказать Пушкин. И вот она твердо говорит Онегину: «Но я другому отдана и буду век ему верна».

Высказала она это именно как русская женщина, в этом ее апофеоза. Она высказывает правду поэмы. О, я ни слова не скажу про ее религиозные убеждения, про взгляд на таинство брака – нет, этого я не коснусь. Но что же: потому ли она отказалась идти за ним, несмотря на то, что сама же сказала ему: «Я вас люблю», потому ли, что она, «как русская женщина» (а не южная или не французская какая-нибудь), не способна на смелый шаг, не в силах порвать свои путы, не в силах пожертвовать обаянием чести, богатства, светского своего значения, условиями добродетели? Нет, русская женщина смела. Русская женщина смело пойдет за тем, во что поверит, и она доказала это. Но она «другому отдана и будет век ему верна». Кому же, чему же верна? Каким это обязанностям? Этому-то старику генералу, которого «она не может же любить, потому что любит Онегина, и за которого вышла потому только, что ее «с слезами заклинаний молила мать», а в обиженной, израненной душе ее было тогда лишь отчаяние и никакой надежды, никакого просвета? Да, верна этому генералу, ее мужу, честному человеку, ее любящему, ее уважающему и ею гордящемуся.

Пусть ее «молила мать», но ведь она, а не кто другая, дала согласие, она ведь, она сама поклялась ему быть честною женой его. Пусть она вышла за него с отчаяния, но теперь он ее муж, и измена ее покроет его позором, стыдом и убьет его. А разве может человек основать свое счастье на несчастье другого? Счастье не в одних только наслаждениях любви, а и в высшей гармонии духа. Чем успокоить дух, если назади стоит нечестный, безжалостный, бесчеловечный поступок? Ей бежать из-за того только, что тут мое счастье? Но какое же может быть счастье, если оно основано на чужом несчастье? Позвольте, представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой. И вот представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только лишь одно человеческое существо, мало того – пусть даже не столь достойное, смешное даже на иной взгляд существо, не Шекспира какого-нибудь, а просто честного старика, мужа молодой жены, в любовь которой он верит слепо, хотя сердца ее не знает вовсе, уважает ее, гордится ею, счастлив ею и покоен. И вот только его надо опозорить, обесчестить и замучить и на слезах этого обесчещенного старика возвести ваше здание!. Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? Вот вопрос. И можете ли вы допустить хоть на минуту идею, что люди, для которых вы строили это здание, согласились бы сами принять от вас такое счастье, если в фундаменте его заложено

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
страдание, положим, хоть и ничтожного существа, но безжалостно и несправедливо замученного, и, приняв это счастье, остаются навеки счастливыми? Скажите, могла ли решить иначе Татьяна, с ее высокою душой, с ее сердцем, столь пострадавшим? Нет; чистая русская душа решает вот как: «Пусть, пусть я одну лишусь счастья, пусть мое несчастье безмерно сильнее, чем несчастье этого старика, пусть, наконец, никто и никогда, а этот старик тоже, не узнают моей жертвы и не оценят ее, но не хочу быть счастливою, загубив другого!» Тут трагедия, она и совершается, и перейти предела нельзя, уже поздно, и вот Татьяна отсылает Онегина. Скажут: да ведь несчастен же и Онегин; одного спасла, а другого погубила! Позвольте, тут другой вопрос, и даже, может быть, самый важный в поэме. Кстати, вопрос: почему Татьяна не пошла с Онегиным, имеет у нас, по крайней мере в литературе нашей, своего рода историю весьма характерную, а потому я и позволил себе так об этом вопросе распространиться. И всего характернее, что нравственное разрешение этого вопроса долго подвергалось у нас сомнению. Я вот как думаю: если бы Татьяна даже стала свободною, если бы умер ее старый муж и она овдовела, то и тогда бы она не пошла за Онегиным. Надобно же понимать всю суть этого характера! Ведь она же видит, кто он такой: вечный скиталец увидал вдруг женщину, которою прежде пренебрег, в новой блестящей недосыгаемой обстановке, – да ведь в этой обстановке-то, пожалуй, и вся суть дела. Ведь этой девочке, которую он чуть не презирал, теперь поклоняется свет – свет, этот страшный авторитет для Онегина, несмотря на все его мировые стремления, – вот ведь, вот почему он бросается к ней ослепленный! Вот мой идеал, восклицает он, вот мое спасение, вот исход тоски моей, я проглядел его, а «счастье было так возможно, так близко!». И как прежде Алеко к Земфире, так и он устремляется к Татьяне, ища в новой причудливой фантазии всех своих разрешений. Да разве этого не видит в нем Татьяна, да разве она не разглядела его уже давно? Ведь она твердо знает, что он в сущности любит только свою новую фантазию, а не ее, смиренную, как и прежде, Татьяну! Она знает, что он принимает ее за что-то другое, а не за то, что она есть, что не ее даже он и любит, что, может быть, он и никого не любит, да и не способен даже кого-нибудь любить, несмотря на то, что так мучительно страдает! Любит фантазию, да ведь он и сам фантазия. Ведь если она пойдет за ним, то он завтра же разочаруется и взглянет на свое увлечение насмешливо. У него никакой почвы, это былинка, носимая ветром. Не такова она вовсе: у ней и в отчаянии и в страдальческом сознании, что погибла ее жизнь, все-таки есть нечто твердое и незыблемое, на что опирается ее душа. Это ее воспоминания детства, воспоминания родины, деревенской глуши, в которой началась ее смиренная, чистая жизнь, – это «крест и тень ветвей над могилой ее бедной няни». О, эти воспоминания и прежние образы ей теперь всего драгоценнее, эти образы одни только и остались ей, но они-то и спасают ее душу от окончательного отчаяния. И этого немало, нет, тут уже многое, потому что тут целое основание, тут нечто незыблемое и неразрушимое. Тут соприкосновение с родиной, с родным народом, с его святынею. А у него что есть и кто он такой? Не идти же ей за ним из сострадания, чтобы только потешить его, чтобы хоть на время из бесконечной любовной жалости подарить ему призрак счастья, твердо зная наперед, что он завтра же посмотрит на это счастье свое насмешливо. Нет, есть глубокие и твердые души, которые не могут! сознательно отдать святыню свою на позор, хотя бы и из бесконечного сострадания. Нет, Татьяна не могла пойти за Онегиным.

Итак, в «Онегине», в этой бессмертной и недосыгаемой поэме своей, Пушкин явился великим народным писателем, как до него никогда и никто. Он разом, самым метким, самым прозорливым образом отметил самую глубь нашей сути, нашего верхнего над народом стоящего общества. Отметив тип русского скитальца, скитальца до наших дней и в наши дни, первым угадав его гениальным чутьем своим, с историческою судьбой его и с огромным значением его и в нашей грядущей судьбе, рядом с ним поставив тип положительной и бесспорной красоты в лице русской женщины, Пушкин, и, конечно, тоже первый из писателей русских, провел пред нами в других произведениях этого периода своей деятельности целый ряд положительно прекрасных русских типов, найдя их в народе русском. Главная красота этих типов в их правде, правде бесспорной и осознательной, так что отрицать их уже нельзя, они стоят, как изваянные. Еще раз напомню: говорю не как литературный критик, а потому и не стану разъяснять мысль мою особенно подробным литературным обсуждением этих гениальных произведений нашего поэта. О типе русского инока-летописца, например, можно было бы написать целую книгу, чтоб указать всю важность и все значение для нас этого величавого русского образа, отысканного Пушкиным в русской земле, им выведенного, им изваянного и поставленного пред нами теперь уже навеки в бесспорной, смиренной и величавой духовной красоте своей, как свидетельство того мощного духа народной жизни, который может

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r выделять из себя образы такой неоспоримой правды. Тип этот дан, есть, его нельзя оспорить, сказать, что он выдумка, что он только фантазия и идеализация поэта. Вы созерцаете сами и соглашаетесь: да, это есть, стало быть, и дух народа, его создавший, есть, стало быть, и жизненная сила этого духа есть, и она велика и необъятна. Повсюду у Пушкина слышится вера в русский характер, вера в его духовную мощь, а коль вера, стало быть, и надежда, великая надежда за русского человека. «В надежде славы и добра Гляжу вперед я без боязни», – сказал сам поэт по другому поводу, но эти слова его можно прямо применить ко всей его национальной творческой деятельности. И никогда еще ни один русский писатель, ни прежде, ни после его, не соединялся так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин. О, у нас есть много знатоков народа нашего между писателями, и так талантливо, так метко и так любовно писавших о народе, а между тем, если сравнить их с Пушкиным, то, право же, до сих пор, за одним, много что за двумя исключениями из самых позднейших последователей его, это лишь «господа», о народе пишущие. У самых талантливых из них, даже вот у этих двух исключений, о которых я сейчас упомянул, нет-нет, а и промелькнет вдруг нечто высокомерное, нечто из другого быта и мира, нечто желающее поднять народ до себя и осчастливить его этим поднятием. В Пушкине же есть именно что-то сроднившееся с народом взаправду, доходящее в нем почти до какого-то простодушнейшего умиления. Возьмите Сказание о медведе и о том, как убил мужик его боярыню-медведицу, или припомните стихи: «Сват Иван, как пить мы станем, и вы поймете, что я хочу сказать».

Все эти сокровища искусства и художественного прозрения оставлены нашим великим поэтом как бы в виде указания для будущих грядущих за ним художников, для будущих работников на этой же ниве. Положительно можно сказать: не было бы Пушкина, не было бы и последовавших за ним талантов. По крайней мере, не проявились бы они в такой силе и с такою ясностью, несмотря даже на великие их дарования, в какой удалось им выразиться впоследствии, уже в наши дни. Но не в поэзии лишь одной дело, не в художественном лишь творчестве: не было бы Пушкина, не определились бы, может быть, с такою непоколебимой силой (в какой это явилось потом, хотя все еще не у всех, а у очень лишь немногих) наша вера в нашу русскую самостоятельность, наша сознательная уже теперь надежда на наши народные силы, а затем и вера в грядущее самостоятельное назначение в семье европейских народов. Этот подвиг Пушкина особенно выясняется, если вникнуть в то, что я называю третьим периодом его художественной деятельности.

Еще и еще раз повторю: эти периоды не имеют таких твердых границ. Некоторые из произведений даже этого третьего периода могли, например, явиться в самом начале поэтической деятельности нашего поэта, ибо Пушкин был всегда цельным, целокупным, так сказать, организмом, носившим в себе все свои зачатки разом, внутри себя, не воспринимая их извне. Внешность только будила в нем то, что было уже заключено во глубине души его. Но организм этот развивался, и периоды этого развития действительно можно обозначить и отметить, в каждом из них, его особый характер и постепенность вырождения одного периода из другого. Таким образом, к третьему периоду можно отнести тот разряд его произведений, в которых преимущественно засияли идеи всемирные, отразились поэтические образы других народов и воплотились их гении. Некоторые из этих произведений явились уже после смерти Пушкина. И в этот-то период своей деятельности наш поэт представляет собою нечто почти даже чудесное, неслыханное и невиданное до него нигде и ни у кого.

В самом деле, в европейских литературах были громадной величины художественные гении – Шекспиров, Сервантесы, Шиллеры. Но укажите хоть на одного из этих великих гениев, который бы обладал такою способностью всемирной отзывчивости, как наш Пушкин. И эту-то способность, главнейшую способность нашей национальности, он именно разделяет с народом нашим, и тем, главнейше, он и народный поэт. Самые величайшие из европейских поэтов никогда не могли воплотить в себе с такою силой гений чужого, соседнего, может быть, с ними народа, дух его, всю затаенную глубину этого духа и всю тоску его призвания, как мог это проявлять Пушкин. Напротив, обращаясь к чужим народностям, европейские поэты чаще всего перевоплощали их в свою же национальность и понимали по-своему. Даже у Шекспира его итальянцы, например, почти сплошь те же англичане. Пушкин лишь один из всех мировых поэтов обладает свойством перевоплощаться вполне в чужую национальность. Вот сцены из «Фауста», вот «Скупой рыцарь» и баллада «Жил на свете рыцарь бедный». Перечтите «Дон-Жуана», и если бы не было подписи Пушкина, вы бы никогда не узнали, что это написал не испанец. Какие глубокие, фантастические образы в поэме «Пир во время чумы»! Но в этих фантастических образах слышен гений Англии;

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.r
эта чудесная песня о чуме героя поэмы, эта песня Мери со стихами: «Наших деток в шумной школе раздавались голоса», – это английские песни, это тоска британского гения, его плач, его страдальческое предчувствие своего грядущего. Вспомните странные стихи: «Однажды странствуя среди долины дикой».

Это почти буквальное переложение первых трех страниц из странной мистической книги, написанной в прозе, одного древнего английского религиозного сектатора, – но разве это только переложение? В грустной и восторженной музыке этих стихов чувствуется самая душа северного протестантизма, английского ересарха, безбрежного мистика, с его тупым, мрачным и непреодолимым стремлением и со всем безудержем мистического мечтания. Читая эти странные стихи, вам как бы слышится дух веков реформации, вам понятен становится этот воинственный огонь начинавшегося протестантизма, понятна становится, наконец, самая история, и не мыслью только, а как будто вы сами там были, прошли мимо вооруженного стана сектантов, пели с ними их гимны, плакали с ними в их мистических восторгах и веровали вместе с ними в то, во что они поверили. Кстати: вот рядом с этим религиозным мистицизмом религиозные же строфы из Корана или «Подражания Корану»: разве тут не мусульманин, разве это не самый дух Корана и меч его, простодушная величавость веры и грозная кровавая сила ее? А вот и древний мир, вот «Египетские ночи», вот эти земные боги, севшие над народом своим богами, уже презирающие гений народный и стремления его, уже не верящие в него более, ставшие впрямь уединенными богами и обезумевшие в отъединении своем, в предсмертной скуке своей и тоске тешащие себя фантастическими зверствами, сладострастием насекомых, сладострастием пауковой самки. Съедающей своего самца. Нет, положительно скажу, не было поэта с такою всемирною отзывчивостью, как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут дело, а в изумляющей глубине ее, а в перевоплощении своего духа в дух чужих народов, перевоплощении почти совершенном, а потому и чудесном, потому что нигде ни в каком поэте целого мира такого явления не повторилось. Это только у Пушкина, и в этом смысле, повторяю, он явление невиданное и неслыханное, а по-нашему, и пророческое, ибо... ибо тут-то и выразилась наиболее его национальная русская сила, выразилась именно народность его поэзии, народность в дальнейшем своем развитии, народность нашего будущего, таящегося уже в настоящем, и выразилась пророчески. Ибо что такое сила духа русской народности как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности? Став вполне народным поэтом, Пушкин тотчас же, как только прикоснулся к силе народной, так уже и предчувствует великое грядущее назначение этой силы. Тут он угадчик, тут он пророк.

В самом деле, что такое для нас Петровская реформа, и не в будущем только, а даже и в том, что уже было, произошло, что уже явилось воочию? Что означала для нас эта реформа? Ведь не была же она только для нас усвоением европейских костюмов, обычаев, изобретений и европейской науки. Вникнем, как дело было, поглядим пристальнее. Да, очень может быть, что Петр первоначально только в этом смысле и начал производить ее, то есть в смысле ближайше утилитарном, но впоследствии, в дальнейшем развитии им своей идеи, Петр несомненно повиновался некоторому затаенному чутью, которое влекло его, в его деле, к целям будущим, несомненно огромнейшим, чем один только ближайший утилитаризм. Так точно и русский народ не из одного только утилитаризма принял реформу, а несомненно уже ощутив своим предчувствием почти тотчас же некоторую дальнейшую, несравненно более высшую цель, чем ближайший утилитаризм, – ощутив эту цель, опять-таки, конечно, повторяю это, бессознательно, но, однако же, и непосредственно и вполне жизненно.

Ведь мы разом устремились тогда к самому жизненному воссоединению, к единению всечеловеческому! Мы не враждебно (как, казалось, должно бы было случиться), а дружественно, с полною любовью приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий, умея инстинктом, почти с самого первого шагу различать, снимать противоречия, извинять и примирять различия, и тем уже выказали готовность и склонность нашу, нам самим только что объявившуюся и сказавшуюся, ко всеобщему общечеловеческому воссоединению со всеми племенами великого арийского рода. Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, все-человеком, если хотите. О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое. Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой

то есть Россия Дневники писателя (Мысли о России). Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.ru братства и братского стремления нашего к воссоединению людей. Если захотите вникнуть в нашу историю после Петровской реформы, вы найдете уже следы и указания этой мысли, этого мечтания моего, если хотите, в характере общения нашего с европейскими племенами, даже в государственной политике нашей. Ибо, что делала Россия во все эти два века в своей политике, как не служила Европе, может быть, гораздо более, чем себе самой? Не думаю, чтоб от неумения лишь наших политиков это происходило. О, народы Европы и не знают, как они нам дороги! И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и воссоединяющей, вместить в нее с братскою любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону! Знаю, слишком знаю, что слова мои могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Пусть, но я не раскаиваюсь, что их высказал. Этому надлежало быть высказанным, но особенно теперь, в минуту торжества нашего, в минуту чествования нашего великого гения, эту именно идею в художественной силе своей воплощавшего. Да и высказывалась уже эта мысль не раз, я ничуть не новое говорю. Главное, все это покажется самонадеянным: «Это нам-то, дескать, нашей-то нищей, нашей-то грубой земле такой удел? Это нам-то предназначено в человечестве высказать новое слово?» Что же, разве я про экономическую славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина. Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю «в рабском виде исходил, благословляя» Христос. Почему же нам не вместить последнего слова его? Да и сам он не в яслях ли родился? Повторяю: по крайней мере, мы уже можем указать на Пушкина, на всемирность и всечеловечность его гения. Ведь, мог же он вместить чужие гении в душе своей, как родные. В искусстве, по крайней мере, в художественном творчестве, он проявил эту всемирность стремления русского духа неоспоримо, а в этом уже великое указание. Если наша мысль есть фантазия, то с Пушкиным есть, по крайней мере, на чем этой фантазии основаться. Если бы жил он дольше, может быть, явил бы бессмертные и великие образы души русской, уже понятные нашим европейским братьям, привлек бы их к нам гораздо более и ближе, чем теперь, может быть, успел бы им разъяснить всю правду стремлений наших, и они уже более понимали бы нас, чем теперь, стали бы нас предугадывать, перестали бы на нас смотреть столь недоверчиво и высокомерно, как теперь еще смотрят. Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!